



“Беспечных лохов стан сонливый”

Диалектизмы в поэме Ф.Н. Глинки “Карелия...”

© Н. Г. ЯСТРЕБОВА

В основу поэмы Ф.Н. Глинки “Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой” положен реальный исторический факт ссылки Марфы Иоанновны Романовой Борисом Годуновым в Толвуйский погост, при этом исторический сюжет переплетается с карельским фольклором. Интересно, что фольклорный вымысел строится на конкретном, реальном фоне, подчеркнуть который призваны, наряду с этнографическими комментариями самого автора, еще и такие лексические средства, как диалектизмы. Диалектные слова погружают нас в мир карельской природы, быт карелов.

Наибольший интерес представляют этнографические диалектизмы, обозначающие такие бытовые реалии, которых нет у русских: *лох*, *луда*, *крица*, *сойма*.

Комментируя строчку “Беспечных лохов стан сонливый...”, Глинка замечает: “Лохами называют здесь рыбу из рода лососей; сии же лохи, побыв несколько месяцев в водах Белого моря, получают вкус и наименование семги, которая во множестве ловится в Архангельской губернии и, кажется, в особенности близ города Онеги” (Глинка Ф.Н. Избранное. Петрозаводск, 1949. С. 130; далее только стр.) В “Толковом словаре живого великорусского языка” В.И. Даля находим более подробное объяснение: “Лох – сев. рыба семга, лосось, облоховившийся по выметке икры: лосось для этого подымается с моря по реч-

кам, а выметав икру, идет еще выше и становится в омуты, чтобы переболеть; мясо белеет, блеск из черни переходит в серебристость, под ртом вырастает хрящеватый крюк; вся рыба теряет весу иногда на половину и называется лохом. В море уходит она осенью, и, пролонжав (перезимовав) там, отгуливается и опять обращается в лосося. Лоха зовут еще: пан, вальчак, вальчуг”.

Из рыбацкого быта и диалектизм *луды*. Карелка Маша помогает отцу подвести его лодку к берегу: “Она к воде... челнок хватает, Ведет, умея, мимо луд...” (С. 308).

Предвосхищая вопрос, автор замечает, что *лудами* в Карелии называют подводные мели. Подтверждает это и В.И. Даль, в Словаре которого *лудами* называются “подводные или наводные плоские камни, мели; гранитные плешины”.

Не раз встречается в тексте поэмы *сойма*: “...кого-то, Из дальней русския земли В покрытой сойме привезли...”; ветер “рвет на соймах паруса...”. Если Даль определяет сойму просто как “речное или озерное судно”, то Глинка дает более обстоятельное объяснение: “Сойма – особого рода крытая лодка, употребляемая на Онеге, часто бурной” (С. 313).

К семантическим диалектизмам в поэме, т.е. имеющим в литературном языке другое значение, относится *калитка*: крестьянин Никанор стрельцов “не раз калитками кормил”. Удивление читателей исчезает при чтении авторского комментария: “Калитки – пироги из ржаной муки с начинкою толокна, овсяных, а иногда и гречневых круп” (С. 312). Далее это слово определяется как “4-хугольная ватрушка, шаньга, наливашник, лепешка с кашей и сметаной или творогом”.

К этнографическим диалектизмам прибегает автор и при описании медеплавильного производства: “Над Выгом зарево горит! То, знать, пожар?.. Иль блеск зарницы?.. Подъедем ближе – все шумит. Там плавают медь, варганят крицы...” (С. 269). *Крицы*, поясняет Глинка в примечаниях, это “железные комы; их составляют посредством биения молотом, из брусков, называемых свинками”. По Далю, *крица* – это “свежая глыба вываренного из чугуна железа, идущая под огромный водяной (кричный) молот для отжимки, проковки и обработки в половое и др. железо”.

Собственно лексические диалектизмы в поэме представлены *шелойником* и *мамурой*. “Шумит шелойником Онега”, – говорит Глинка, описывая непогоду, и замечает, что так «называется у онежан ветер, дующий с юго-запада. Есть пословица: “Ветер-шелойник – на Онеге разбойник!” Ибо ветер сей причиняет много вреда судам» (С. 313). Интересно, что в Словаре Даля этого слова нет, тем большую ценность представляют для нас послетекстовые примечания Глинки. Зато без пояснений автора остается в поэме *мамура*: “После обеденного сна,

Идет путем к лесному Уру Сбирать душистую мамуру: Она в то время новизна!” (С. 292).

За комментарием вновь обращаемся к Далю, который пишет, что мамура – это “кустарничек и ягода, поленика, куманика, княженика, княжница, лапморозка, красная морошка, хохляница, хохляника, хохлуша, хохлянка”.

К числу фонетических диалектизмов относится *койма*. Глинка оставляет его без комментария. Объяснение этому слову находим у Даля: “Кайма, край, кромка”.

К национальной фразеологии можно отнести карельские народные выражения, употребляемые автором в тексте поэмы и послетекстовых примечаниях, например: “Ветер-шелойник – на Онеге разбойник” или “Туман постелется холстом, И рыба к берегу хвостом...”.

Введение в поэму диалектной лексики помогает автору более точно описать образ жизни карелов, создать достоверный национальный колорит.

Этнографические примечания по своей добросовестности и занимательности не уступают материалам Словаря Даля, а в иных случаях даже дополняют их.

Чебоксары



“Черная женщина” Н.И. Греча

К проблеме цветовой символики

© Н. М. ИЛЬЧЕНКО,
доктор филологических наук

В русской романтической прозе 30-х годов XIX века есть произведения, в названия которых включен *черный цвет*, выполняющий разные смысловые функции. Так, в повести М.П. Погодина “Черная немочь” (1828) он несет в себе печаль и “тьму” смерти, воплощая народные представления о *черном цвете* как символе горя и отчаяния. Синонимом несчастья *черный цвет* выступает и в повести В.Ф. Одоевского “Черная перчатка” (1835). Не избежал его и Н.И. Греч, связав *черный цвет* с основной сюжетной линией романа “Черная женщина” (1834), где *черный цвет* олицетворяет борьбу темных и светлых сил, присутствующих в земной человеческой жизни.

Название романа, на наш взгляд, соотнесено с образом *белой женщины* из распространенного в Германии предания о призраке, являющемся людям “незадолго перед смертью” (Некоторые любопытные приключения и сны, из древних и новых времен. М., 1829). Русскому читателю 30-х годов XIX века это предание было известно не только по книге “Некоторые любопытные приключения...”, но и по переводным художественным произведениям немецких авторов. Среди них можно упомянуть “Белое привидение” Э.Т.А. Гофмана и повесть Л. Тика “Волшебный замок”, опубликованную в типографии Н.И. Греча.

Кроме того, Н.И. Греч в “Записках о моей жизни” (СПб., 1886) настаивал на своем немецком происхождении: “я по всем линиям происходил из немецких корней”. Он в совершенстве владел немецким языком и в подлиннике читал писателей Германии. Предание о *белой женщине* и мотивы, с ним связанные, занимали существенное место в картине мира Г. Цшокке, Л. Тика, Э.Т.А. Гофмана и др. Оно своеобразно осмысливалось и русскими романтиками, присутствуя в повестях А.А. Бестужева-Марлинского “Вечер на Кавказских водах в 1824 году” (1830), В.Ф. Одоевского “Привидение” (1838) и др. Столь популярное в Германии предание соединилось с распространенным представлением многих народов о *белом цвете* как цвете призраков вообще и цвете савана как символа смерти. При этом в русской литературе произошло самостоятельное формирование антитезы *белое/черное*, что привело к созданию образа *черной женщины*.

Отталкиваясь от семантической оппозиции *белый/черный*, Н.И. Греч наделил свою *черную женщину* близкой функцией к известному немецкому оригиналу – предвестница, но не смерти, а предстоящей опасности. В предисловии к роману Н.И. Греч ссылался на историю о жизни человека, который в детстве, во время московской чумы, стал свидетелем “страшного явления”. Какое именно “явление”, автор не поясняет. Однако “механизм” его воздействия знаком по преданию о *белой женщине*: испуг, затем “явление” “неразлучного спутника”, которое “предвещало ему счастье и беду, радость и печаль, успех в деле и неудачу...” (Греч Н.И. *Черная женщина // Три старинных романа*. М., 1990. Кн. вторая). Н.И. Греч сделал “неразлучным спутником” главного героя не *белую*, а *черную женщину*, в чем, на наш взгляд, проявляется национальная концептосфера.

Черный – это цвет одежды христианских священников, монахинь, удаляющихся от жизненной суеты, становится символом сохранения душевной чистоты. В то же время он является символом тоски и страдания.

Истоки образной системы романа, ее исконно русский контекст, непосредственно восходят к родословной автора. В “Записках о моей жизни” он говорил о влиянии на себя дяди по матери Александра Яковлевича Фрейгольда: “Он научил меня быть русским, потому что сам был истинно русский человек, душой и сердцем”. Н.И. Греч дал самые сердечные характеристики своему дяде, называя его добрым, благородным, умным, обладателем разнообразных дарований – “рисовальщик, певец, актер, математик и воин”. Александр Яковлевич Фрейгольд послужил прототипом главного героя романа “Черная женщина” – князя Алексея Кемского. Прототипом отрицательной героини стала мать Александра Яковлевича – Христина Михайловна Фрейгольд (в девичестве – Шне, по второму мужу – Фок). В романе – это сводная сестра князя Алевтина Михайловна. “Властолюбием, упрямством, прихотливостью, злостью она имела известное влияние на судьбу всех ее родных... – писал о своей родственнице Н.И. Греч. – Я старался схватить некоторые черты ее характера в лице Алевтины Михайловны...”.

Алевтина Михайловна фактически отобрала у князя Кемского законно принадлежавшее ему состояние, используя для этого подложное завещание, а его самого стремилась отправить на войну в надежде на его гибель. Пользуясь отсутствием сводного брата, она отослала его новорожденную дочь в сиротский приют, а жену подвела к самоубийству. Все свои поступки жестокая, расчетливая и коварная женщина совершала под маской благочестия. Завеса не сразу спала с глаз Алексея Кемского.

На помощь Кемскому часто приходила *черная женщина*, появление которой связано с детским воспоминанием: трехлетний Алексей

оставался с матерью в Москве, когда там свирепствовала чума. Ребенку она представлялась “злой волшебницей”, “разъезжавшей в колеснице” и “убивавшей людей”. Однажды мальчик открыл окно и увидел, как из дома напротив выбросили в повозку мертвое тело: “В это самое время вновь отворилось окно и в нем показалась молодая женщина в черном платье, с распущенными по плечам черными волосами, покрытая смертною бледностью. И теперь вижу эти черты, в которых изображались тоска и отчаяние... Повозка двинулась, и в это самое мгновение женщина с диким пронзительным воплем, который поныне раздается в моем слухе, кинулась из окна”. Сильная горячка, следовавшая за этим случаем, прошла, но осталась “грустная мысль, какое-то страшное ощущение, облеченное в наружный вид женщины в черном платье”.

С тех пор эта женщина стала являться Кемскому во сне. По выражению ее лица он научился предугадывать будущее. Чаще всего она появлялась в момент опасности. Во время пугачевского бунта маленький Кемский едва не погиб. Перед появлением разъяренной толпы Алексей увидел *черную женщину*, как называл он ее про себя: “бледная, с распущенными волосами... она оставалась в дверях, вперила в меня укоряющий взор и погрозила пальцем”. После этого он позволил няне надеть на себя запачканную крестьянскую рубашу, что и сохранило ему жизнь.

Серьезная опасность угрожала Кемскому, когда Алевтина Михайловна задумала женить его на своей дальней родственнице, чтобы держать обладателя состояния под своим влиянием. “В разговоре с Алевтиною он чувствовал какое-то беспокойство, как будто ему предстояло несчастье... вдруг невольно взглянул на дверь темной залы и там увидел черную женщину. Она посмотрела на него печально, покачала головою, как будто не одобряя его поступка, и исчезла”. После этого нервическая горячка едва не унесла жизнь князя.

Черная женщина не только предостерегала главного героя, но и вселяла надежду. После прихода пугачевцев в барский дом исчез младший брат Кемского: кормилица, спасаясь от разъяренной толпы, бросила младенца в кусты. С тех пор его никто не видел. Перед отъездом в Петербург на учебу они с отцом пошли попрощаться с заветным местом: “Я пошел к роковому кусту и, глядя на густую зелень его, думал: “Так ты умер, друг мой?” В это время что-то темное приподнялось из-за густой зелени: всматриваюсь – и вижу знакомую мне черную женщину, но не страшную, не грозящую, как бывало, а с какою-то милою, утешительною улыбкою”.

Брат Кемского остался жив. Много лет спустя князь встретит живописца, к которому привязался “какою-то непостижимой силой”: ему казалось, что встретился с давно потерянным другом, с пришельцем с того света”. Андрей Федорович Бериллов окажется братом Кем-

ского, но тайна откроется слишком поздно – после скоростижной смерти живописца.

Н.И. Греч вводил в повествование традиционные для романтической литературы 30-х годов XIX века размышления “о видениях, о предчувствиях”. Автор указывал, что ворожеями, кофейницами и другими чародейками обычно оказывались женщины, объясняя это тем, что “воображение у женщины живее и пламеннее, нежели у мужчины”. Князь Кемский стал свидетелем гаданья в белорусской корчме. Он попросил старуху-гадальщицу предсказать, где его ожидает счастье. Женщина открыла пиковую семерку «и тихим голосом сказала: “В гробу”».

Предсказание в точности исполнилось. Нервическая горячка после очередного появления предостерегающей *черной женщины* закончилась летаргическим сном. Кемский был положен в гроб, но внезапно очнулся и разглядел, наконец, истинное лицо своей сводной сестры: “Его любили, ласкали, уважали за одно его богатство”. Однако он узнал и тех, кто по-настоящему был привязан к нему. Сережа Ветлин, приемный сын первого мужа Алевтины Михайловны, горько плакал из-за потери самого близкого человека. Неожиданностью для Кемского стало искреннее, глубокое чувство, которое скрывала от всех гувернантка Наташа. Испытание истинного счастья в гробу было связано для князя с любовью Натальи Васильевны Павленко. С этих пор образы *черной женщины* и самого дорогого человека на земле соединились.

“Отмыкают дверь, она отворяется, и входит в залу женщина – в черном платье, с распущенными по плечам черными волосами, неся в руках свечу. Кемский, увидев свою всегдашнюю мечту, вообразил, что это явление возвещает ему о наступлении смертного часа, но она не останавливается вдали, как обыкновенно, а подходит медленно, озираясь во все стороны, ближе и ближе, ставит свечу на столике у изголовья, а сама обращается к гробу. В эту минуту Кемский узнал Наташу”. В дальнейшем явление *черной женщины* так или иначе будет связано с мыслью о жене. Находясь в Ницце, раненый Кемский, лишенный возможности послать весточку в Россию, терзается мыслями о близких. Поэтому в сумерках, когда идет «борьба тьмы с владычеством солнца, чудился ему давно знакомый призрак: в конце аллеи появляется белая точка, развивается, развивается и наконец принимает вид черной женщины, которой воображение духовидца придавало любезные ему черты Наташи. Она, казалось ему, поглядывала на него печально и покачивала головою, как будто к словам: “Нет, не верь!” – садилась на скамью и в задумчивости облокачивалась на ручку. Он быстро подходил к скамье, но призрака уже не было». Дальнейшие события никак не соотносились князем с его видением. Между тем, к печали *черной женщины* присоединилась и надежда. Следует

обратить внимание на характер оппозиции: *черная женщина* образуется из *белой точки*. *Черное/белое, тьма/свет* составляют постоянное соотношение.

Еще одно событие должно было натолкнуть Кемского на размышления. Однажды на корабле, следовавшем из Ниццы в Триест, Кемский стал свидетелем того, как его друг Алимари пытался успокоить девушку, жених которой был убит французами. Девушка оказалась ясновидящей, возможно, под влиянием горя. Когда в поле ее видения попадает Кемский, то она призывает его утешиться: “Видишь ли – там, там, откуда восходит солнце, откуда веет прохладный ветер, там она, видишь, вот она в черной мантии, на коленях... Видишь ли, друг мой, вот она! Она молится богу – счастливая! Перед нею – не распятие – нет! – лик пречистой девы, одетой золотом и блестящими камнями. Вижу, вижу: утешительница небесная лучом отрады проникает в грустное, томное сердце”. *Черная мантия, не распятие, а пречистая дева* – эти символы натолкнули Кемского на определенные размышления, тем более, что незнакомка угадала его сон.

Ему стала являться во сне Наташа в облике *черной женщины*: “Чудилась ему всегдашняя мечта его, принявшая лицо и выражение Наташи – выражение тоски, уныния, изредка сменяемых мимолетно улыбкою, проблеском поднятых к небу глаз, в которых выражалось: любви, верь и надейся!”. Наташа в черном платье стала постоянной спутницей Кемского. С этим образом ассоциировалось обращение к “*пречистой деве*”, к “*заступнице*”. Поэтому *черная женщина* все отчетливее соотносится со светом: “эта светлая тень, эта посланница с того света чуждалась душевной атмосферы людских пороков”.

В Петербурге, где обосновался Кемский после отставки, его ждали новые разочарования в родственниках, но в момент отчаяния снова появлялась *черная женщина* в облике Наташи. Видению предшествует молитва, обращение глаз к образу. Когда же тусклая лампада перед иконой запылала ярче обычного, Кемский увидел Наташу “во всегдашнем своем черном платье”, она смотрела в угол комнаты, “темный, недосыгаемый свету лампы”. “Вдруг и эта сторона стала проявляться, мало-помалу явился там лик младенца, в белой сорочке, опоясанной голубою лентою”. Утром Кемский увидел на белой стене своей спальни портрет младенца, повешенный там вечером его другом Берилловым. На портрете была изображена пропавшая дочь Кемского.

Черная женщина, темный угол комнаты, свет лампы, младенец в белой сорочке, белая стена – такой ряд цветовых символов выстраивается из этого видения. В результате *черный, темный через свет* – символ чистоты и божественности – приходит к *белому* как цвету радости.

Новое видение снова перенесло героя в мир таинственных мечтаний. Н.И. Греч ввел пространное описание “сна на легких крыльях”, в

котором намеренно выделил оппозицию *черного/белого* в разных вариациях. Князь не просто наблюдал, а сам вовлекся в действие. Сначала герой как бы пронесится “над бездонными, темными пропастями, во мгле и тумане, разрезаемых молниями, посреди страшных чудовищ, зиявших на него кровавыми глазами”. Затем “солнечные лучи осветили” все кругом, и тогда Кемский увидел “Наташу, в черном платье”, которая шла рядом с ним и вела трехлетнего ребенка. “Кровожадным чудовищам” в этом “туманном видении” противопоставлены Алимари и Бериллов, которые не раз приходили на помощь Кемскому в трудную минуту.

Развязка романа Н.И. Греча оказывается самой неожиданной. Кемский нашел свою дочь и вместе с ней направился в Симбирскую губернию. Они остановились в Москве и случайно оказались “в прежнем жилище своих родителей”, где когда-то маленький князь был свидетелем страшной сцены – “черная женщина бросилась на мертвое тело”. Кемский вышел на улицу, чтобы вблизи увидеть дом с балконом, с детства врезавшийся ему в память: “Вдруг растворились двери на балконе. В них появилась женщина в черном платье, взглянула на Кемского и бросилась к нему с громким криком”. В женщине, одетой в черное платье, Кемский узнал Наташу. Она не утонула, а ушла в монастырь к своей тете, надела монашескую одежду, приняла имя Елены (так называли в свете ее тетю), но не постриглась, хотя провела в монастыре семнадцать лет. Наташа оказалась в Москве по просьбе своей тети, которая попросила отслужить молебен по жениху, внезапно умершему когда-то во время чумы. Тетя Наташи, оказывается, и была той самой женщиной в черном, которая бросилась на тело своего жениха.

В романе несколько раз повторяется мысль о предопределенности судьбы: “должно в безмолвии и уповании на благодать Промысла с покорностью и терпением ожидать того, что нам суждено”; “есть Провидение, которое посреди жестоких испытаний указывает нам путь долга и чести”. Страдания Кемского, которому пришлось много пережить, вознаграждены: он нашел дочь и жену. Автор не объясняет сверхъестественное появление *черной женщины*, сначала предупреждающей героя, а затем соединившейся с Наташей и ставшей спасением. В любом случае *черная женщина* является “милым призраком”, выполняющим, как и *белая женщина*, функцию предвестницы.

Происхождение образа *черной женщины*, на наш взгляд, имеет прямое отношение к немецкой общекультурной традиции, поскольку функциональное сходство явно прослеживается. Таинственный образ в романе Н.И. Греча связан с конкретными персонажами. Если у *белой женщины* был реальный прототип из эпохи Средневековья, то Н.И. Греч предложил свое толкование в появлении призрака, не разрывающая его сверхъестественности.

Маленький Кемский представлял себе чуму как “злую волшебницу”. Воспитанник Кемского – Ветлин – лишился в детстве своего благодетеля, остался на попечении Алевтины Михайловны, которая тоже представлялась ему “злой волшебницей”. “Злая волшебница” – чума – связана с тетей Наташи, бросившейся с балкона на погубленного чумой жениха. Именно она приняла в воображении Кемского облик *черной женщины*. “Злая волшебница” – Алевтина Михайловна лишила Наташу мужа, заставила удалиться в монастырь, как сделала это раньше ее тетя. Наташа стала *черной женщиной*. Кемский поясняет: “И прежде, в первые дни знакомства моего с покойною женою моею, я находил в ней поразительное сходство с моею мечтою: теперь обе они слились в одно, теперь появление милого призрака есть для меня награда, утешение, отрада”.

Черный цвет в романе Н.И. Греча имеет в целом позитивный смысл. *Черная женщина* является выразительницей религиозной символики. Уход от земной суеты позволил героиням укрепить душу и веру. *Черный цвет* монашеской одежды придает определенную направленность образам жены Кемского и ее тети. В видениях князя *черная женщина* – Наташа показана в окружении христианской символики – *образов, лампад, молитв*. Христианская символика, используемая Н.И. Гречем, традиционна: “божественные цвета проявляют более высокие характеристики яркости и света – они пылают подобно расплавленному металлу, они сияют и лучатся” (Бенц Э. Цвет в христианских видениях // Психология цвета. Пер. с англ. М., 1996). “Утешительница небесная” помогла Наташе, а Кемский увидел в жене “заступницу свою у небесного престола”.

В использовании *черного цвета* Н.И. Гречем художественно воплощена национальная концептосфера. В выборе эпитета *черный* проявилась определенная направленность образа. *Черный цвет* связан со страданием. В христианских видениях за “глубочайшей тьмой” следует “божественный свет” (Бенц Э. Указ. соч.), за печалью – радость, Н.И. Греч закончил роман письмом Алимари к Кемскому, которое выразило авторскую позицию: “Бог еще в здешнем мире вознаградил вас, друг любезный и единственный! Для человека добродетельного сделалось исключение в обыкновенном порядке дел человеческих”. “Добродетельный” князь за свое поведение был вознагражден.

Символ *черного цвета* в романе Н.И. Греча “Черная женщина” приобрел значение мировоззренческого понятия. С *черным цветом* писатель связывал систему ассоциаций, имеющих религиозное значение. *Черный цвет* в одежде женщины-привидения выполнял защитную функцию: она являлась не предвестницей смерти, а предвестницей опасности, хранительницей, дающей веру и надежду.



*“Следы родимой почвы”
в поэзии И.З. Сурикова*

© И. Б. СЕРЕБРЯНАЯ,
кандидат филологических наук

У многих из нас с раннего детства хранятся в памяти поэтические строки:

Вот моя деревня;
Вот мой дом родной;
Вот качусь я в санках
По горе крутой.

Это отрывок из стихотворения Ивана Захаровича Сурикова “Детство” (цит. по: Суриков И.З. и поэты-суриковцы. М–Л., 1966), которое можно назвать жемчужиной детской, да и не только детской поэзии. А вот начало другого суриковского стихотворения – “Зима”, также ставшего хрестоматийным:

Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.

Простые, безыскусные слова, взятые в своих прямых значениях, полное отсутствие каких-либо поэтических украшений и при этом глубокая задушевность, тонкий лиризм, искренность, берущая за сердце, – таковы характерные особенности поэтического слога Сурикова.

Широко известны и любимы и такие его стихотворения для детей, как “Дед Клим”, “На реке”, “Клад”, напечатанные в журналах второй половины XIX века “Детское чтение” и “Воспитание и обучение”.

Однако Суриков писал не только для детей. Его перу принадлежат около 200 стихотворений, былины, баллады, несколько поэм, вольные переводы с украинского, датского, английского, польского и литовского языков.

Исследователи называют стихи Сурикова певучими, утверждают, что стихотворение для него – это почти всегда песня. Имеются свидетельства, что как свои, так и чужие стихи он обычно напевал, проверяя пением, а стихотворные строфы нередко называл “куплетами”. Многие стихотворения Сурикова стали популярными в народе песнями: “Рябина”, “В степи” (“Степь да степь кругом”), “Малороссийская песня” (“Я ли в поле да не травушка была”), “Песня сироты”, которую часто вспоминал В.В. Маяковский, “Доля бедняка”, восхищавшая Л.Н. Толстого, и многие другие. Стихи Сурикова были положены на музыку П.И. Чайковским, А.Т. Гречаниновым, М.А. Кузминым, Ц.А. Кюи, Н.А. Соколовым.

Трепетной музыкой слова, певучестью наделена и пейзажная лирика Сурикова с ее прозрачным, точным языком и неисчерпаемой глубиной содержания. Таковы, например, строфы из стихотворения “В зареве огнистом”, положенном на музыку для хора А.Т. Гречаниновым:

В зареве огнистом
Облаков гряда,
И на небе чистом
Вечера звезда.

Звук свирели стройно
Льется и дрожит;
На душе покойно,
Сердце будто спит.

Стихотворения Сурикова – продолжение поэтических традиций А.В. Кольцова и И.С. Никитина, а также Н.А. Некрасова: русская природа, крестьянский труд, деревенские дети, мотивы народного го-ря, глубокие фольклорные истоки...

И сам Суриков, и его литературные преемники, поэты-суриковцы А. Бакулин, С. Григорьев, Д. Жаров и другие, будучи выходцами из народа и получая знания с величайшим трудом и муками, всю жизнь чувствовали недостаточность своего образования и называли себя

“поэтами-самоучками”. Многие свои стихотворения И.З. Суриков подписывал так: “Крестьянин Иван Суриков”. Показательно, что поэту неоднократно приходилось выслушивать упреки в том, будто он пишет бедными рифмами и заезженными размерами. Чаще всего в его четверостишиях зарифмованы лишь четные строчки, а нечетные остаются нерифмованными (“холостыми”). Такого рода ритмическое строение было характерно для хореических фольклорных песен (См.: Мысль, вооруженная рифмами. Поэтическая антология по истории русского стиха. Л., 1984. С. 29, 303) и вполне гармонировало со стилем и содержанием суриковских стихов.

Крестьянский, народно-песенный дух поэзии Сурикова, его диалектные корни (он был уроженцем деревни Новоселово Угличского уезда Ярославской губернии; по воспоминаниям современников, в разговоре он по-ярославски “окал”) нашли отражение в его стихотворениях.

Как правило, Суриков отбирает из родного диалекта лишь общепонятное, лексические диалектизмы узкого, ограниченного употребления встречаются в его произведениях весьма редко. Поэт прибегает к областным словам такого рода в стихотворениях, воссоздающих местный колорит, подробно описывающих различные виды крестьянского труда. Таково, к примеру, стихотворение “На реке”, детально воспроизводящее процесс ночной рыбной ловли: *смолье* (согласно В.И. Далю, “смолистые дрова, лучина, для свету, для лученья рыбы”) и *лучильник* (“лучинник, косарь, большой нож или обломок косы, для щепанья лучины”):

Весло до дремлющей воды
Как будто вовсе не касалось,
И на лучильнике смолье
Все ярче, ярче разгоралось.

В стихотворной сказке “Клад” диалектизм *бурак* означает “кузовок”:

Бросилась баба
Ночью в непогоду
С бураком к соседям
Раздобыться меду.

В стихотворениях “Летом” и “У пруда” дважды встречается уменьшительное *кобылка*, которое, в отличие от литературного языка, имеет значение “кузнечик”:

Утки на свободе
Весело гогочут,
А в траве кобылки,
Прыгая, стрекочут.

А в песне “Толокно” диалектное *беседа* – “посиделки”:

Два лукошка толокна
Продала соседу
И купила я вина,
Назвала беседу.

Характерно, что во всех этих немногочисленных случаях перед нами диалектные слова, известные на территории северо-восточных (ярославских, костромских и т.п.) говоров.

В грамматическом отношении стихи Сурикова также, как правило, не выходят за рамки современного ему литературного языка. Нечастые архаично-диалектные морфологические формы, встречающиеся в его песнях, были известны в поэзии XIX века. Например, старые формы родительного падежа ед. числа прилагательных женского рода с окончанием *-ья*, которые поэт использует в стихотворении из народных мотивов “Кручинушка”: “Сокрушил меня он, высушил, Хуже травушки кошеня, Что на жарком летнем солнышке, Во чистом поле сушеня”. Эти формы нередко употреблялись поэтами первой половины XIX века в качестве традиционной условности стихотворного языка (Винокур Г.О. О языке художественной литературы. М., 1991. С. 262–265).

Как элемент народной речи можно рассматривать единичные у Сурикова случаи “усечения” или “стяжения” имен прилагательных:

Молодой ямщик печально
Песню напевает, –
Верно, сердце горемыки
Зла тоска терзает.
(“В дороге”)

Кто платок, кто душегрейку,
Башмачки козловы,
А кто платье... Одна только
Стоит без обнови.
(“Сиротинка”)

Несколько раз встречается в стихотворениях Сурикова архаичная форма именительного падежа множественного числа местоимения 3-го лица *оне*, которая обычно стоит в конце стихотворной строки, организуя рифму:

И теперь на ниве скудной
Слышны песни, но оне
Говорят о жизни трудной,
О рабочем тяжком дне.
(“Вот село”)

И хочет князь, как было встарь,
Тряхнуть могучими руками –
Но крепко скованы оне,
И хочет крикнуть он во сне.

(“Василько”)

В исследованиях по диалектологии подчеркивается, что эта форма, нередко встречающаяся в поэтическом языке XIX века, одновременно является яркой приметой говоров северо-восточной диалектной зоны (Русская диалектология. М., 1989. С. 207).

В синтаксическом строе суриковских стихов преобладают народно-разговорные конструкции. К примеру, в стихотворении “Вдова” видим своеобразную, взятую из народной речи форму управления глагола *отдыхать* в сочетании с предлогом *за*:

А ведь думала когда-то:
Вот женю сыночка –
Отдыхать под старость буду
За невесткой-дочкой.

Принадлежностью фольклорного языка являются сравнительные обороты с союзом *что*:

Грустно, сиротинка,
Я стою, качаюсь,
Что к земле былинка,
К тыну нагибаюсь.

(“Рябина”)

А в стихотворении “Толокно” поэт использует весьма редкую в русской поэтической речи конструкцию: безличное предложение с кратким страдательным причастием в качестве главного члена:

Как на улице мороз,
В хате не топлено,
Нет в лукошках толокна,
Хлеба не печено.

Ударение в суриковских произведениях в основном соответствует общелитературным нормам того времени. Обращает на себя внимание лишь очень характерный для народной поэзии и частый у Сурикова перенос ударения с существительных на управляющие ими предлоги. Например, в стихотворении “Детство”: “Побд гору, в сугроб”; “Нá небе темно”; “Заберешьсá на печь” и т.п.

Отдельные песенно-поэтические ударения, не совпадающие с литературной нормой, у Сурикова редки:

В зеленом саду соловушка
 Звонкой песней заливается;
 У меня, у молодешеньки,
 Сердце грустью надрывается.
 (“В зеленом саду”)

В темной комнате зимою
 Сыро, холодно,
 И стучится вьюга злая
 В мерзлое окно.
 (“Сердцу грустно”)

Кроме того, отличается своеобразием ударение некоторых грамматических форм. В частности, глаголы былого IV класса (современного II спряжения), характеризующиеся сейчас подвижным ударением в настоящем времени, у Сурикова чаще всего имеют постоянное ударение на окончании: *валѣтся, кружѣтся, трудѣтся, подарѣт* и т.п.

Вот моя подруга
 В безотрадной доле,
 Шьет она, трудѣтся,
 Убиваясь в горе.
 (“Тяжело и грустно”)

Если горе за сердце возьмет,
 Навалѣтся злодейка нужда,
 Он кудрями лишь только тряхнет –
 И кручины уж нет и следа.
 (“Загорелась над степью заря”).

Такого типа архаичные ударения, широко распространенные в поэтическом языке XIX века, особенно характерны для северо-великорусских говоров (Русская диалектология... С. 112).

Таким образом, замечательный русский поэт И.З. Суриков, используя в своих произведениях диалектные языковые элементы, руководствовался при этом, по выражению Пушкина, “чувством соразмерности и сообразности”. Те немногие областные слова, формы и конструкции, которые встречаются в стихотворениях И.З. Сурикова, уроженца Ярославской губернии, обычно имеют естественную территориальную отнесенность: они свойственны северо-восточным говорам. В этой связи уместно вспомнить замечательные слова А.А. Фета: “Песня поется на каком-либо данном языке, и слова, вносимые в нее вдохновением, вносят все свои, так сказать, климатические свойства и

особенности. Насаждая свой гармонический цветник, поэт невольно вместе с цветком слова вносит его корень, а на нем следы родимой почвы” (Русские писатели о литературе. Л., 1939. Т. 1. С. 450).

В родимую почву крестьянской речи поэт был погружен с детства, слушая песни и сказки своей бабушки:

Избу освещает
Огонек свецца;
Зимний вечер длится,
Длится без конца...

И начну у бабки
Сказки я просить;
И начнет мне бабка
Сказки говорить...

Слушаю я сказку, –
Сердце так и мрет;
А в трубе сердито
Ветер злой поет.

Я прижмусь к старушке...
Тихо речь журчит,
И глаза мне крепко
Сладкий сон смежит.

(“Детство”)

Казань





**Природа
в стихотворениях
Ф.И. Тютчева о любви**

© Н. Д. ДИЗЕНКО,
кандидат филологических наук

В стихотворениях Ф.И. Тютчева, которые можно отнести к группе, условно обозначенной когда-то Львом Толстым пометой Ч – Чувство, происходит сопоставление состояний природы и душевной жизни человека, даже отождествление их. Как отмечал Ю.М. Лотман в своем спецкурсе о творчестве поэта, тема природы появляется у него уже в 20-х годах, и в описании ее мы видим слова, характерные для живого существа (*прячется, немеет*), и наоборот, когда речь идет о человеческой душе, о чувствах, появляются слова, характерные для мира природы (Лотман Ю.М. Русская философская лирика. Творчество Тютчева // Тютчевский сборник. Таллинн, 1990. С. 273). Так, ветер говорит “понятым сердцу языком” (“О чем ты воешь, ветр ночной...”), а человек осознается как часть природы, лишь ее *грёза*:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши прозрачные годы,
*И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих – лишь грёзою природы.*

(“От жизни той, что бушевала здесь...”.

Курсив здесь и далее наш. – Н.Д.).

Мысль о слиянии, похожести человека и природы выражается в характерной для Тютчева форме риторического вопроса с союзом *или, вопроса-предположения* (Ковтунова И.И. Асимметричный дуализм языкового знака // Проблемы структурной лингвистики 1983. М., 1986. С. 103), обычно являющегося заключительной частью стихотворения:

Сквозь ресницы шелковые
 Проступили две слезы...
Иль то капли дождевые
Зачинающей грозы?..

(“В душном воздуха молчанье...”)

Блестят и тают глыбы снега,
 Блестит лазурь, играет кровь...
Или весенняя то нега?..
Или то женская любовь?..

(“Еще земли печален вид...”)

Рассмотрим группу слов, образующих важное семантическое поле в картине мира поэта. Прежде всего это слова *воздух*, *воздушный*, а также связанные с ними по смыслу *повеет*, *обвеян*, *дуновенье*, *дыхание*, *дышать*, *небо*, *небеса*, *небесный*. В статье “Федор Тютчев” второго издания “Энциклопедического словаря юного филолога” И.И. Ковтунова замечает: “Тютчев тонко воспринимал воздействие воздушной среды. Ощущение воздушной среды передается концентрацией характерных для поэтики Тютчева словесных образов: *воздушный*, *легкий*, *эфирный*, *ангельский*, *тихоструйный*, *тиховейный*, *дымный*, *туманный*, *зыбкий*, *незримый*; *веять*, *обвеивать*, *струиться*; *веянье*, *дуновение* и под.”, эти “воздушные” образы, чаще всего окрашенные в положительные тона, применяются не только к миру природы, но и к душевному миру, к незримым прикосновениям духа.

В стихотворениях о любви, особенно ранних, *воздух* – очень важный образный элемент, передающий взволнованное радостное настроение, предвкушение счастья:

О, кто мне поможет шалунью сыскать,
 Где, где приютилась сильфида моя?
 Волшебную близость, как бы благодать,
 Разлитую в воздухе, чувствуя я.

(“Cache-cache”)

Риторические вопросы (их здесь фактически два, с отсутствием вопросительного знака в первой строке), так же, как и экспрессивное междометие *О*, повтор вопросительного *где*, усиливают ощущение нетерпения лирического героя увидеть возлюбленную.

Слово *воздух* соединяется в контексте с такими положительно окрашенными эпитетами, как *голубой*, *лазуревый*, *благовонный*, *милоблагодатный*, *светлый*, *ласковый*; глаголом *лелеет*:

Лавров стройных колыханье
 Зыблет *воздух голубой*,
 Моря тихое дыханье
 Провеяет летний зной...

(“Вновь твои я вижу очи...”)

С лазуревых высот
Вдруг воздух благовонный
В окно на нас пахнет <...>

И меньше мы тоскуем,
И легче нам дышать...

Так мило-благодатна,
Воздушина и светла,
Душе моей стократно
Любовь твоя была.

(“В часы, когда бывает...”)

И воздух ласковой волной
Их [деревьев] пышность ветхую лелеет.

(“Утихла биза... Легче дышит...”)

Слова *воздух*, *воздушный*, *лазурь*, *лазурный*, *безоблачный* ассоциируются с чистотой и прелестью юности:

Ничто лазури не смутило
Ее безоблачной души. <...>
И даже клевета не смяла
Воздушный шелк ее кудрей.

(“Как ни бесилося злоречье...”)

Интересно посмотреть на употребление слов *воздух*, *воздушный* в стихотворении “Вчера, в мечтах обвороженных...”:

Утихло вокруг тебя молчанье,
И тень нахмурилась темней,
И груди ровное дыханье
Струилось в воздухе слышней.

Но сквозь воздушный завес окон
Недолго лился мрак ночной.

В этом стихотворении значимость каждого из сложных определений, столь характерных для Ф. Тютчева, достигается их равноударностью в строке (по два определения в каждой строке), разделенностью строк при помощи сравнения *как ветерком занесено*:

Вот тихоструйно, тиховейно,
Как ветерком занесено,
Дымно-легко, мглисто-лилейно
Вдруг что-то по́рхнуло в окно.

Отметим замедленность в произношении третьей строки, вызванную сочетанием согласных *мн* в *дымно-легко* и *мгл* в *мглисто-лилей-*

но. Орфография этих определений – дефисное написание – тоже замедляет произношение.

Однако слово *воздух* встречается не только в стихотворениях, связанных с утром жизни, легкостью и ожиданием счастья, но и в других стихах, создавая “жизнеутверждающий” контекст.

Еще одну группу лексем, связанных со словом *воздух*, составляют слова *дышать*, *дыханье* (*моря тихое дыханье; и легче нам дышать; и груди... ровное дыханье; душа... дышала и болела*):

Душа, душа, которая всецело
Одной заветной отдалась любви
И ей одной *дышала и болела*,
Господь тебя благослови!

Он милосердный, всемогущий,
Он, греющий своим лучом
И пышный цвет, *на воздухе цветущий*,
И чистый перл на дне морском.

(“Когда на то нет божьего согласия...”)

Метафоры *сад дышит прохладой, обвеян дыханьем листьев* видим в стихотворении “Пламя рдеет, пламя пышет...”:

Пламя рдеет, пламя пышет,
Искры брызжут и летят,
А на них *прохладой дышит*
Из-за речки тихий сад. (...)
Листья веют и шуршат.
Я, дыханьем их обвеян,
Страстный говор твой ловлю...

(“Пламя рдеет, пламя пышет...”)

Интересно употребление *повеет* и *дуновенье* в стихотворении “Я встретил вас – и все былое...”:

Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда *повеет* вдруг *весною*
И что-то встрепенется в нас, –

Так, весь *обвеян дуновеньем*
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...

Это *дуновенье* *Тех лет душевной полноты* перекликается со словами *душу всю свою она вдохнула* в одном из наиболее пронзитель-

ных по степени выражения чувства стихотворений “денисьевского цикла” Тютчева “Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...”:

Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.

Слова данной тематической группы видим там, где описывается возрождение к жизни: “Утихла биза... Легче дышит Лазурный сонм женевских вод”. Тут же, через две строки, мы видим слово *воздух* при описании красоты и прелести жизни:

Весь день, как летом, солнце греет,
Деревья блещут пестротой,
И воздух ласковой волной
Их пышность ветхую лелеет.

(“Утихла биза... Легче дышит...”)

Воздух, небо – это то, без чего жизнь любящего человека невозможна:

Но для меня сей взор благодаянье;
Как жизни ключ, в душевной глубине
Твой взор еще живет и будет жить во мне:
Он нужен ей, как *небо и дыханье*.

В этом, одном из первых напечатанных Тютчевым стихотворений, «К Н. (“Твой милый взор, невинной страсти полный...”»)» слова *небо* и его производные *небеса, небесный*, неоднократно повторяются: “златой рассвет *небесных* чувств”; “нужен ей, как *небо и дыханье*”; “Лишь в *небесах* сияет он, *небесный*...”.

Невозможно не привести здесь строки из стихотворения “Сияет солнце, воды блещут...”, где *небо* и *воздух*, а также *солнце, воды* выполняют свои функции в создании той особенности тютчевской лирики, которая названа И.И. Ковтуновой “поэтикой избытка жизни”:

Сияет *солнце, воды* блещут,
На всем улыбка, жизнь во всем,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в *небе голубом*.

(“Сияет солнце, воды блещут...”)

В следующей строфе упоминается и *воздух*:

Поют деревья, блещут *воды,*
Любовью воздух растворен,

И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоен.

Образ голубого неба возникнет снова:

Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года,
Как перед утренним лучом
Первоначальных дней звезда
Уж тонет в небе голубом...

(“Я знал ее еще тогда...”)

Еще один не менее интересный пример употребления слова *воздух* в перечислительном ряду однородных членов, когда каждое слово приобретает особый смысл после паузы, обозначенной запятой. Это небольшое стихотворение из четырех строк – прекрасный образец той “густоты и силы ...лексической окраски” языка Тютчева “на небольшом пространстве его форм”, о которой говорил Ю. Тынянов в статье “Вопрос о Тютчеве”, написанной к 120-летию со дня рождения поэта (Тынянов Ю.Н. Вопрос о Тютчеве // Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 47):

Все отнял у меня казнящий бог:
Здоровье, силу воли, *воздух*, сон,
Одну тебя при мне оставил он,
Чтоб я ему еще молиться мог.

(“Все отнял у меня казнящий бог...”)

В стихотворении “Не говори: меня он, как и прежде, любит...” в драматической, эмоциональной форме реализуется метафора *дышать воздухом любви*. Отсутствие воздуха равносильно смерти:

Он *мерит воздух* мне так бережно и скудно...
Не мерят так и лютому врагу...
Ох, я *дышу* еще болезненно и трудно,
Могу *дышать*, но жить уж не могу.

Соединение образов душевного мира и природной жизни – в стихотворении “День вечереет, ночь близка...”:

День вечереет, ночь близка,
Длинней с горы ложится тень,
На небе гаснут облака...
Уж поздно. Вечереет день.

Но мне не страшен мрак ночной,
Не жаль скудеющего дня, –
Лишь ты, волшебный призрак мой,
Лишь ты не покидай меня!...

Крылом своим меня одень,
Волненья сердца утиши,
И благодатна будет тень
Для очарованной души.

Кто ты? Откуда? Как решить,
Небесный ты или земной?
Воздушный житель, может быть, –
Но с страстной женскою душой.

(“День вечереет, ночь близка...”)

Завершающая строфа – иллюстрация теснейшей ассоциативной связи *небесного*, *воздушного* и *страстности* женской души. Как заметил В.М. Жирмунский, поэзия “лирических настроений”, “психологического параллелизма” и сделала впоследствии Ф. Тютчева одним из предшественников русского символизма (Жирмунский В.М. Метафора в поэтике русских символистов // Поэтика русской поэзии. СПб., 2001. С. 196).

США,
Нью-Йорк

Обращения и ключевые слова
в пьесе М.А. Булгакова “Дни Турбиных”

© КИМ ЧЖИ ХАН,

С. В. МОЛЧАНОВА,

кандидат искусствоведения

В экспозиции (в первых явлениях драматических произведений) принято, чтобы персонажи, обращаясь друг к другу, называли собеседника. Это дает возможность зрителю понять, кто из действующих лиц находится на сцене, разобраться в системе персонажей. Так, в первой картине “Дней Турбиных” мы слышим имена персонажей, в том числе сокращенные, домашние: Алеша, Леночка, Елена. И только когда Турбин-старший говорит Николке, как маленькому: “Конечно, тебя еще не хватает. Сиди, пожалуйста, смирно”, – тот отвечает по-военному: “Слушаю, господин полковник”. И потом: “Понял. Виноват, господин полковник”.

При появлении вояки Мышлаевского Николка ласково обращается к нему: “Да это ты, Витенька?”. Это обращение создает контраст с грубоватой ответной репликой Мышлаевского: “Ну я, конечно, чтоб меня раздавило!”. Алексей восклицает: “Да это Мышлаевский”. Такое сочетание реплик не может не вызвать улыбку, хотя ситуация совсем не смешная. Мышлаевский называет Турбина-младшего коротко – *Никол*: “Никол, бери винтовку...”; “Осторожней вешай, Никол”. Эти фразы звучат как военные команды. Потом, когда Николка разувает его, Мышлаевский обращается к нему совсем иначе: “Голубчик, сними... Легче, братик, ох, легче”. Николка общается с ним, называя его воинское звание: “Что, согрелся, капитан?”. А через несколько реплик Мышлаевский возмущается: “Что ты, юнкер, мне газеты тычешь?”. Таким образом, зритель узнает имена и звания всех присутствующих на сцене мужчин.

Самым оригинальным – “Лена ясная” – оказывается обращение Мышлаевского к единственной в пьесе женщине. Николка говорит, что их сестра – рыжая, рыжеволосая, поэтому в нее все сразу влюбляются. И это замечательное чувство, которое вызывает Елена, подчеркивает эпитет *ясная*. Для характеристики героини очень важен этот эпитет Мышлаевского, который является не внешним, а психологическим.

В контексте дружеских разговоров и приветствий юмористически выглядят торжественные обращения к родственникам “житомирского кузена” – Лариосика:

Л а р и о с и к. Вот я и приехал. Здравствуйте, глубокоуважаемая Елена Васильевна... Мама просит вам передать ее самый горячий привет... Здравствуйте, Николай Васильевич, я так много о вас слышал (...)

А л е к с е й. Да вы будьте добры, скажите, как ваша фамилия?

Л а р и о с и к. Ларион Ларионович Суржанский.

Е л е н а. Вы – Лариосик? Житомирский кузен?

Л а р и о с и к. Ну да.

В сцене с Тальбергом, которая завершает первую картину “Дней Турбиных”, обращения несут очень большую нагрузку. Композиционно сцена разделена на два явления: Тальберг – Елена и Тальберг – Алексей. По содержанию эти явления – прощание и одновременно ссора. Тальберги и Алексей – люди воспитанные, поэтому все напряжение сцены выражается именно в смене обращений. Сначала муж и жена обращаются друг к другу как близкие люди – Лена, Володя. Тальбергу нужно сообщить жене, что он срочно уезжает в Берлин. Он понимает, что в глазах жены его отъезд выглядит странно, и не знает, как сообщить такую новость:

Е л е н а. Что же теперь будет?

Т а л ь б е р г. Что теперь будет. Гм... Половина десятого. Так-с... Что теперь будет? Лена!

Е л е н а. Что ты говоришь?

Т а л ь б е р г. Я говорю – Лена!

Е л е н а. Ну что – “Лена”!

Т а л ь б е р г. Лена. Мне сейчас нужно бежать.

Дальше Тальберг от домашнего имени *Лена* переходит к обращениям, которые формально выглядят ласково и трогательно. Но в контексте они звучат иронично, неискренне или как обращения к маленькой, непонятливой девочке: “Дорогая моя, ты знаешь, что меня ждет в случае, если русская армия не отобьет Петлюру и он придет в Киев?”; “Миленькая моя, как меня можно спрятать! Я не иголка”; “Милая, это наивно. Я тебе говорю по секрету... Видишь ли, моя дорогая, он [Шервинский] мне не нравится”.

Когда речь заходит о братьях, квартире, о Шервинском, реплики Елены становятся более резкими. Она изменяет обращение к мужу и вместо теплого *Володя* ставит сухое и официальное *Владимир Робертович*: “Владимир Робертович, здесь мои братья! Неужели же ты хочешь сказать, что они вытеснят нас?”; “Почему ты полагаешь, Владимир Робертович, что я не могу тебе изменить?”. На эту реплику Тальберг отвечает возмущенным повтором: “Елена, Елена, Елена! Я не узнаю тебя”.

Но время бежит, он смотрит на часы и сменяет гнев на милость: “Милая, (...) только чемоданчик”. Елена предлагает мужу проститься с братьями и, уходя, приглашает Алексея. Мужчины здороваются по-

домашнему: “А, здравствуй, Володя. – Здравствуй, Алеша”. Но когда Алексей узнает, что Тальберг уезжает в Берлин на два месяца, он не подает ему руки на прощание:

Т а л ь б е р г. Что это значит?

А л е к с е й (*спрятав руку за спину*). Это значит, что командировка ваша мне не нравится.

Т а л ь б е р г. Полковник Турбин!

А л е к с е й. Я вас слушаю, полковник Тальберг!

Т а л ь б е р г. Вы мне ответите за это, господин брат моей жены.

А л е к с е й. А когда прикажете, господин Тальберг?

При появлении Елены оба скрывают свое столкновение и опять переходят на домашние имена: “Ну, до свидания, Алеша! – До свидания, Володя!”. А когда Тальберг уходит, Николка, глядя в окно, говорит ему вслед: “Алеша, ты знаешь, я заметил, он на крысу похож”. Алексей соглашается: “Крыса!”. Так Тальберг приобретает прозвище, данное ему из-за его позорного бегства.

Булгаков использует в своей пьесе все выразительные возможности обращения.

Обратим внимание на другую особенность диалогов в пьесах Булгакова – на ключевые слова. Отдельные из них построены по принципу, который можно назвать музыкальным термином “рондо”. Рондо – небольшая музыкальная пьеса, в которой несколько раз повторяется одна и та же тема, как будто движущаяся по кругу. У Булгакова место музыкальной темы занимает ключевое слово, которое отмечает начало, середину и конец явления или сцены.

Рассмотрим первое действие “Дней Турбиных”. Последняя реплика сцены отъезда Тальберга:

Е л е н а (*возвращается из передней. Смотрит в окно*). Уехал...

Первое явление второй картины, которое следует сразу за ней, начинается так:

Е л е н а (*у рояля, берет один и тот же аккорд*). Уехал. Как уехал?

Ш е р в и н с к и й (*появляется внезапно*). Кто уехал?

Но Елена не сразу отвечает ему на вопрос – Булгаков намеренно задерживает важное для Шервинского сообщение. Елену пугает внезапное появление поклонника, ловкий адъютант дарит букет, разговор заходит о деньгах, в связи с ними Шервинский упоминает даже Карла Маркса. Только в середине диалога возникает прежний вопрос и ключевое слово:

Ш е р в и н с к и й. Итак, кто же уехал?

Е л е н а. Владимир Робертович.

Ш е р в и н с к и й. Позвольте, он же сегодня должен был вернуться?

Е л е н а. Да, он вернулся и... опять уехал.

Узнав, что Тальберг уехал в Берлин на два месяца, Шервинский не может скрыть своего восторга. Сдерживая радость, он лицемерит: “Печально, печально... Я так расстроен, я так расстроен!” И завершает тему отъезда его реплика: “Итак, стало быть, он уехал, а вы остались”. Для него чрезвычайно важно осознать это противопоставление. Дальше Елена переводит разговор на другую тему, и ее продолжение у рояля служит серьезной завязкой будущих отношений Елены и Шервинского. Таким образом, одно явление у Булгакова свободно переходит в другое, а разделяются они с помощью ключевых слов.

Важную кульминационную сцену в гимназии несет ключевое слово “дом” в первой картине третьего акта в кульминационной сцене в гимназии. Для Алексея Турбина понятие дома имеет ценность, близкую к понятию “родина”. Вернувшись из дворца, Алексей обращается к дивизиону: “Приказываю всем, в том числе и офицерам, снять с себя погоны, все знаки отличия и немедленно же бежать и скрыться по домам. (Пауза.) Я кончил. Исполнять приказание!”

Юнкера и офицеры поражены этими словами. Они обвиняют полковника Турбина в измене. Алексей объясняет положение юнкерам и офицерам: “Кого вы желаете защищать? Кого? Сегодня в три часа утра гетман бросил на произвол судьбы армию, бежал... Штаб князя дал ходу вместе с ним... В бой я вас не поведу, потому что в балагане я не участвую и тем более что за этот балаган заплатите своею кровью... – вы”. Студзинский и 1-й офицер предлагают ему вывезти дивизион на Дон, но Алексей знает, что и на Дону все то же самое: “Там дивизионы без снарядов, там юнкера без сапог, а офицеры сидят в кофейнях”. В момент кульминации Алексей Турбин произносит главные слова: “Народ не с нами. Он против нас... И вот я, кадровый офицер, Алексей Турбин, вынесший войну с германцами... на свою совесть и ответственность принимаю все, все принимаю и, любя вас, посылаю домой”. После выстрела пушки за окнами гимназии Турбин требует: “Срывайте погоны, бросайте винтовки и немедленно по домам!”

С т у д з и н с к и й. Юнкера, домой!

М ы ш л а е в с к и й. Юнкера, бей отбой, по домам!

Когда “все исчезают”, Алексей разговаривает со сторожем гимназии, а потом приказывает Мышлаевскому: “...К Елене сейчас же!”

И наконец последний разговор с Николкой:

Н и к о л к а (появляется наверху, крадется). Алеша!

А л е к с е й. ...Сию минуту домой, снять погоны! Вон!..

Н и к о л к а. ...Ты, командир, смерти от позора ждешь, вот что!

А л е к с е й. Ну, ладно же! Я с тобой дома поговорю.

Через несколько мгновений Алексей, прикрывая заставу юнкеров, погибнет, и в доме Турбиных останется только память о брате и командире. Но остаться дома – это остаться на родине, так что бег Николки и всех друзей Турбиных в их приветливый дом означает признание родины высшей ценностью их жизни.



ЗВУКООПИСАНИЕ И ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ

© В. И. МАКСИМОВ,
доктор филологических наук

Авторы прибегают к “звуковому” описанию окружающих предметов, чтобы привлечь внимание на их особенности. Это дает возможность вызвать у читателя различные чувства – умиления, восторга, сострадания, а то и просто улыбку, как, например, в “Мертвых душах” Н. Гоголя:

“Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалованье, другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно, молодого щенка, и все наконец вершал бас, может быть, старик, наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе...”

Звучание, сопровождающее какое-либо движение, событие, автор может не просто описывать, но и указывать на сами предметы, явления, существа, производящие эти звуки. Степень воздействия на читателя усиливается, если образуются однокоренные слова, передающие процесс звучания, как в стихотворении Б. Слуцкого “Начало века”:

Какое-то дуденье,
 В какую-то дуду,
 И бубенцов бубенье
 Бубнет белиберду,
 а скрепы – заскрипели,
 а хрипы – захрипели,
 а капли, как в капели,
 закапали, запели,
 и звуки зазвучали,
 и загремели громы,
 и разгромили громы
 небесные хоромы.
 И в звуковом навале
 сквозь весь разгром
 и слом
 внезапно узнавали
 рожденье новых слов.

(Курсив здесь и далее наш. – В.М.)

В художественных целях используются и звукоподражания. Например, у Р. Фархади с ними связан образ старости:

Говорил наш ворон:
 – Кар-р-р ...
 Стар я очень,
 очень стар-р-р.
 Я открою вам секрет:
 Мне исполнилось
 Сто лет.
 Кар-р! – кричу я
 Утром. – Кар-р-р!
 Стар я очень.
 Очень стар-р-р.

В мастерском исполнении интересно послушать стихотворение В. Каменского “Соловей”:

В шелестинных грустинах
 Зовы песни звончей.
 В переленных тростинах

Чурлю журчит журчей.
 Чюрлю-журль,
 Чурлю-журль.
 И растрельная трель:
 Чок-й-чок,
 Чтрррр. Ю.

Если в первом четверостишии сквозь словесные неологизмы ощущается все же и шелестенье “грусти”, и журчание ручья, то дальнейшая имитация соловьиных трелей и коленцев рассчитана исключительно на восприятие звучания, на наслаждение искусством передачи в общем-то непередаваемого любовного птичьего пения, непередаваемого соловьиного языка.

Игра звуков в художественной литературе, особенно в поэзии, бывает удивительной. Иногда кажется, что автора интересует не столько смысл, пусть даже скрытый, сколько само звучание выражаемого. Поэт словно наслаждается придуманным им сочетанием звуков и призывает читателей к этому наслаждению. Действительно, что хотел сказать А. Крученых в своем “Глухонемом”?

Муломнг, улва
 глулов кул...
 амул ягул валгул
 за-ла-е
 у-гул
 волгала гир
 марча...

Может быть, поэт хотел сказать только то, что глухонемому мир обычно предстает таким же непонятным, состоящим из не связанных между собой явлений и вещей, как сами эти стихи для нормального человека, обладающего слухом, зрением и даже речью? Поистине надо быть фанатом фонетики, чтобы пуститься в такое рискованное плавание в безбрежном море поэзии!

Своеобразно в плане звукоподражания стихотворение поэта-футуриста Е. Гуро “Финляндия”. Прочитаем его вслух (сохранено правописание начала XX в.):

Это-ли? Нет-ли?
 Хвои- и шуят – шуят
 Анна – Мария, Лиза – нет?
 Это-ли? – Озеро-ли?

 Хулла, лолла, лалла – лу,
 Лиза: лолла, лулла-ли.
 Хвои шуят, шуят

ти-и-ти, ти-и-у-у.
Лес-ли, – Озеро – ли?
 Это ли

Эх, Анна, Мария, Лиза
 Хой – тара!
Тере-дере-дере... Ху!
 Холе – кулэ – незэ
Озеро-ли – Лес-ли?
Тио-и
ви-и...у.

Прежде всего возникает вопрос, почему это стихотворение имеет название “Финляндия”? Вероятно, потому, что в нем изображено: “хвои”, лес, озеро, финское приветствие *тере* – здравствуйте, а “хвои” еще ведь *шуют, шуют*, т.е. шумят, и невидимые птицы наполняют воздух разноголосьем: *ти-и-ти, ти-и-у-у, тио-и, ви-и...у*. Своеобразие этого стихотворения заключается в том, что ощущение финской природы передается, с одной стороны, отдельными знаменательными словами, называющими реалии этой природы (хвойный лес, озера, в окружении которых звучит финская речь), а с другой стороны, звукоподражательными словами, имитирующими пение живущих в этих местах пернатых (*ти-и-ти, тио-и* и т.п.). Отсюда ощущение Финляндии возникает у читателя как бы зрительно-слуховое.

Звукоподражание используется как художественный прием не только в поэзии, но и в прозе. Например, в повести “Чистый колодезь” В. Федорова обыгрывается звучание старого крестьянского орудия – серпа и сравнительно нового – самоходного комбайна:

“Дел у Авдотьи пропасть.

– *Ж-жик!.. Ж-жик!* – поет за хатой ее старый серп. И кланяется матушка-рожь, как сто, двести, триста лет тому назад. А совсем рядом слышится совсем иная музыка.

– Скоро тебе *крышка!* Скоро тебе *крышка!* – грозит серпу с поля самоходный комбайн.

– Я *ж-живучий!* Я *ж-живучий!* – поет серп.

– *Крышка!.. Крышка!..* – стрекочет комбайн...”

Одинаково может восприниматься и изображаться автором звучание разных предметов:

“В дремотном сознании его переплетались и картины прерванных странных видений, и слова матери, и назойливый *клекот* аиста... Жмурясь от солнца, Василь вспомнил об этом клекоте, прислушался – кто близко отбивал косу – *клё, клё, клё*. В голове шевельнулась равнодушная мысль – видно, это и были те звуки, которые в полудреме он принял за *клекот аиста*” (И. Мележ. Люди на болоте).

Особенности произношения используются авторами и для речевой характеристики своих персонажей. Имитироваться может: а) речь иност-

ранцев: – *Читьо случилось, бьедное дятя?; Я нье позьволью мучить ребенка!; Это алмаз, и такой крютный! Ты украль дьмон на пршиск?* (П. Дашкова); б) детская речь: – *Зачем насколо?* – осторожно поинтересовался Митридат. – *А взять валенотьки, игрусетьки* (Б. Акунин); в) речь носителей народных говоров: *Да ни хренинушки ты не пьмашь!* (А. Алексеев).

Бывает, что автор в качестве речевой особенности наделяет своего персонажа какими-либо восклицаниями, вроде междометия, как это можно встретить в повести А. Соболева “Награде не подлежит”:

“А рядом какой-то тощий мужик весело шурил хмельные, будто из бойницы выглядывающие из-под нависших бровей глазки и кричал:

– Победа, народ! Свернули Гитлеру санки! Пляши, люди! *Йех*, звони, наяривай!..

– *Йех*, чубарики-чубчики! – изо всех сил огрел себя по ляжкам рыбак. – Рви подметки!..

Рыбак восхищенно хрюнул бахилом в настил – гул пошел:

– *Йех*, хвост в зубы, пятки в уши!..

Шалая улыбка не покидала его разгоряченного лица.

– *Йех*, пряники-то съела, а ночевать не пришла! – рявкнул уже весь потный и распаренный рыбак”.

В сказке “Игрушечного дела людишки” М. Салтыкова-Щедрина мастер Изуверов разговаривает с куклой – пародией на тогдашнего судебного чиновника – “коллежского асессора”. Чтобы показать недостатки, нелогичность поступков последнего, непонимание им окружающего мира, игрушечному человечку дозволяется повторять только одно слово:

«– Мы ему сперва-на-перво экзамен учиним. Сказывай, коллежский асессор: взятки любишь?

– *P ann-n-na!* – вдруг совершенно отчетливо крикнул “человек”.

– Это значит: люблю, – пояснил Изуверов и, вновь обращаясь к “коллежскому асессору”, продолжал, – большую, поди, мзду берешь?

– *P ann-n-a!*

– Такую, чтоб ограбить? дотла чтобы?

– *Panna! nanna! nanna!*»

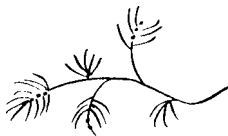
Близки к звукоподражаниям звуковые ассоциации, когда слушающий ассоциирует какое-либо звучание с чем-то, по сути не связанным с данным предметом или явлением. Писатель С. Залыгин рассказывает в романе “Тропы Алтая” о мальчишках, которые много лет тому назад путешествовали по Алтаю. Кончились каникулы, приближался учебный год, и надо было возвращаться домой. Но так хотелось идти вперед и вперед. Особенно троим из них. Посмотрели на карту. «Заметили на карте крупного масштаба маленький кружочек, надпись курсивом, и почему-то представилось им, что это предел всяческих желаний. Может быть, так звучит: “*Усть-Чара... Усть-Чара...*”

Но остальные семеро не слышали в этих словах ничего, не хотели идти к Усть-Чаре. Их было большинство, кто не слышал и не хотел... Вернулись...»

Как оказалось потом, мальчишескую мечту – добраться до той притягательной по названию Усть-Чары смог осуществить лишь один из юных путешественников.

Действительно, что-то есть притягивающее в названии мало кому известного населенного пункта *Усть-Чара*, а детское воображение связывало его непременно с созвучными чарами. И, конечно же, мальчикам думалось, что это должно быть обязательно необыкновенное по своей красоте место, хотя в действительности такой связи не существовало. В чем один из них, уже будучи взрослым и многоопытным, имел возможность убедиться. У многих из нас есть своя мечта в жизни, может быть, самая, самая отдаленная, осуществить которую мы все откладываем и откладываем, то из-за недостатка времени, то средств, то по другим причинам. А когда удастся ее осуществить, то может оказаться, что и не стоило так стремиться к этой цели, что она только по названию связана с чарами, а на самом деле ничем не примечательна. Трудно жить без красивой мечты, надо иметь такую мечту в жизни, но и сделать надо все для того, чтобы она не оказалась мечтой-призраком, Усть-Чарой без чар.

Санкт-Петербург





Поэтика повествования Л. Петрушевской

© Т. Н. МАРКОВА,

кандидат филологических наук

С первых публикаций 1980-х годов рассказы и повести Л. Петрушевской оценивались, как правило, в русле “натурализма”, “жесткого реализма” и даже “чернухи”. При этом мало кто обращал внимание на язык ее прозы. Идя навстречу стихии устного слова, она творит, как справедливо утверждает Р. Тименчик, целый “лингвистический континент” со своим словарем, синтаксисом, тропами, создавая свой, “петрушевский” стиль – стиль максимальной речевой свободы, соответствующей будничной и неприглаженной реальности.

Эта словесно-стилевая устремленность писательницы ярко проявилась, например в лексике цикла рассказов “Лабиринт” (Октябрь. 1999. № 5).

Прежде всего обращает на себя внимание установка автора на разговорные (нередко просторечные) обороты: *ищи-свищи, жадина-говядина, криво-косо, сбоку припека, через пень-колоду, не хухры-мухры, какая-никакая, на букву “б”, дать маху, докатиться до ручки, сесть на иглу*. Высокочастотными оказываются и глаголы, имеющие в словарях помету – разг., просторечн.: *жрать, орать, талдычить, втемляшить, каркать, мылиться, отмахать, ворохнуться, ляпнуть, таскаться, прихватывать*; существительные: *беготня, кровянка, сброд, наркота, коммуналка, клопоморня, гульбище, малина, лохмы, черепушка*. К этому ряду экспрессивно окрашенной лексики можно добавить просторечную бранную: *морда, пугало, дурак, идиот, кулема, илюха, крыса*.

Совмещение контрастирующей лексики (книжной и разговорно-просторечной, жаргонной и т.д.) демонстрирует парадоксальный характер стиля Петрушевской. Именно с помощью парадокса как максимально свободной формы мысли она творит резкооксюморонную картину мира, который предстает в своей кричащей и драматической “лоскутности”, разъединенности его составляющих. Эта картина возникает именно через выстроенную речевую форму, обладающую пафосом нового типа общения автора с реальностью – максимально свободного, внеиерархического. Языковая эклектика в ее художественной системе – совершенно закономерное явление. Свобода эта являет себя в резких переходах от речевого “низа” к речевому “верху”, – это позволяет увидеть в слове Петрушевской не только неказистую простоту мира, но и кроющийся под этой пестротой продуманный план.

Несмотря на густую вещественность и детализированность, проза Петрушевской полна воздуха и пространства, более того, в ней всегда присутствует некий огромный мир вообще, в который как бы впаян малый мир текста. Петрушевская умеет отражать сущее – неприбранное, непричесанное, ненапомаженное, но любимое. Она апеллирует к целостности, явленной в жизни и языке, целостности, демонстрирующей восхитительные парадоксы. Россыпь житейского и языкового сора артистически выстраивается художником. В результате возникает такая речевая ткань, когда штампы, “груды речевого шлака” (А. Смялянский), “терриконы отработанного трепя” (М. Туровская), сдвинутые с привычного слуху места, приведенные в столкновение друг с другом, становятся смыслоразличительным и индивидуализирующим фактором.

Слог Петрушевской, образуя своеобразный лексический коллаж, характеризуется стилистическими диссонансами, эпатирующими нарушениями литературного этикета. Яркий пример – фрагмент из рассказа “Донна Анна, печной горшок”: «...а выставка не хухры-мухры, неопределенной ценности проект типа “коммуналка сороковых”, альманах хлама, канализационных труб и старых унитазных седел, проводов с кляксами побелки и с лампочками на конце, кухонных столиков из тонкой засаленной фанерки, крашенных хозяйской лапой вдоль и поперек, чем аляпистей, тем выразительней образ, то есть собрание того, что еще можно было найти вокруг домов во время капитрмонта, и заграница этим любовалась, как если бы ей представляли добычу археологов Помпеи».

Эту особенность нового искусства можно квалифицировать как формулу речевой нонселекции и одновременно – эстетизации того самого “сора” жизни, из которого произрастает проза Петрушевской, “не ведая стыда”. Слова из разных лексических рядов, нередко чужеродные друг другу – “поэтизмы” и “бытовизмы”, “высокие” и “низкие” – сталкиваются в ее текстах, вступая в причудливые комбинации

и метафорические сочетания: “Провинциальная Милочка привлекала к себе каждого второго, а каждый первый хоть тоже смотрел, но не был таким простым, чтоб кидаться. Каждый первый ценил себя еще выше, чем Милочку, и инстинктивно сторонился этого труда первоходца по большим зарослям, через пни и коряги, чтобы в результате построить себе простой дом из простых бревен на отшибе и ходить на медведя с рогатиной, а дома быть с хозяйкой. Которая тоже рогатиной будет хватать и таскать горшки из печки, и всюду будут тряпки, вьюшки, половки и подзоры: простой, но добытый своими руками уют. И шей горшок, и сам большой, как уже говорил поэт, сильно пострадавший” (Петрушевская Л. Собр. соч.: в 5 т. Харьков – М., 1996. Т. 1. С. 281–282; далее цит. по этому изд.).

Восприятие и осознание мира, убеждена писательница, происходит в речевых формах, они диктуют свои законы, свою инерцию: все называется словом, и только будучи названным, приобретает очертания и статус. Внимание к семантике отдельного слова или словосочетания намеренно подчеркивается, выделяется в тексте даже графически: «Спальня с роялем называлась “дортуар”»; «Что называется “глумление”»; «Для таких случаев существует слово “опущенный”»; «Это называлось в те времена “не давать проходу”»; «Это не было то, что называют “он за ней бегает”. Это было что-то другое» и т.п.

Да, для Петрушевской характерно непрерывное выстраивание “чего-то другого” – индивидуальных, нередко оксюморонных образов: “чужое теплое фойе”, “свое осиное гнездо”, “волшебный мир своей другой жизни”, “к своей чужой жене”, “казенная жена”, “холостое состояние”, “безрезультатно погиб”, “бездарь кандидат наук”, “порядочный проходимец”, “молодая ровесница Оля”, “хромой на голову муж” и т.п.

Идя путем демонстративного обновления словесной формы, Петрушевская прибегает к приему разрушения образного значения фразеологизмов, восстанавливая и дополняя первоначальный смысл входящих в него слов: “На работе она так болела за свое маленькое порученное ей судьбой дело, что в буквальном смысле болела, когда, к примеру, назначили некомпетентную начальницу” (“По дороге бога Эроса”); “они канули в вечность, летят где-то в мерзлой вышине, в разных самолетах домой” (“С горы”); “Гербертовны канули в вечность, увозимые троллейбусом бесплатно” (“К прекрасному городу”); “несостоявшийся зять, наскоро простившись с плачущей Д., канул в вечность, убрался домой куда-то за Уральскую гряду” (“Лабиринт”).

Ироническое и метафизическое, взаимопроникая, не позволяют доминировать какому-то одному из смыслов, из-за чего возникает ощущение ускользания реальности. Различные приемы разрушения образного значения фразеологизмов делают повествовательную ткань Петрушевской предельно пестрой.

Подобно тому, как за внешней несерьезностью, как бы даже неряшливостью речи стоит постоянное стремление осмыслить сущность бытия через житейские подробности несовершенного и непостоянного мироустройства, так за нарочитым нарушением норм на всех языковых уровнях стоит потребность познать язык в его противоречиях и прежде всего себя в языке. Впечатление неряшливости, конечно же, обманчиво. За видимым языковым сором стоит филигранная работа со словом. Покажем это на примере рассказа “По дороге бога Эроса”.

Уже в первом сложном предложении содержится семантический контрапункт всего повествования: «Маленькая пухлая немолодая женщина, обремененная заботами, ушедшая в свое тело как в раковину, именно ушедшая решительно и самостоятельно и очень рано, как только ее дочери начали выходить замуж, – так вот, рано располневшая немолодая женщина однажды вечером долго не уходила с работы, а когда ушла, то двинулась не по привычному маршруту, а по дороге бога Эроса, на первый случай по дороге к своей сослуживице, женщине тоже не особенно молодой, но яростно сопротивляющейся возрасту, – или она была таковой по природе, вечно юной, как она выжалась, “у меня греческая щитовидка” и все» (1,260).

Воспроизведем семантические цепочки, разворачивающиеся в тексте. Первая из них метафорически раздвигает семантическое поле корня “бремя”: “обремененная заботами” – “как только младшая дочь забеременела, она тоже как бы забеременела ожиданием” – “носила в своей душе маленького, но крепкого ангела-хранителя” – “освободилась, расцвела, ее ангел-хранитель вознесся сквозь толщу плоти, уже готовой к старости” – “дело разрешилось [ср.: разрешилась от бремени] на том, что спустя два месяца ее гость пропал”.

Вторая семантическая цепочка выстраивается от словосочетания “ушедшая в свое тело как в раковину”: “ушла в себя” – “спряталась в свое пухлое маленькое тело, спрятала глаза, спрятала душу” – “все это быстро спрятала, быстро обросла бременной плотью” – “засунула свое бременное толстое тельце в какой-то угол и там затихла” – “уйдя в свою личину толстенькой тихой бабушки” – “села и расплылась, растаяла, как бы не существовала уже”.

От глагола “ушла” ведет начало и другая – метафорическая цепочка: *а когда ушла, то двинулась – поплыла – оттолкнулась от берега – взмахнула веслами – побарахталась – залегла на дно*. От глагола “двинулась” (в переносном значении “сдвинулась”, “крыша поехала”) образуется еще одна цепочка: *не помнила себя – впала в сон – повредила в разуме*. А из словосочетания “раковина тела” выстраивается ряд “энтоморфических” образов: личина – куколка – кокон – бабочка, метафорически выражающих идею сущностного, эйдетического преобразования героини, встретившей своего Единственного.

Итак, одно-единственное предложение, состоящее из целого ряда обособленных, уточняющих, присоединительных конструкций, создающих эффект нанизывания, приращения подробностей, ухода в сторону и т.п., содержит в себе важную семантическую энергию, реализуемую на протяжении всего повествования. Повторы, возвращения, хождения по кругу, блуждание в лабиринте – это и есть стилевая доминанта прозы Петрушевской. Она разрушает иллюзию всезнающего автора, прямого, открытого слова. Сигналы непрямоты изобируют в тексте. Это множество неопределенных местоимений и наречий (*кто-то, как-то, какая-то, когда-то, почему-то*), вводных модальностей (*видимо, возможно, кажется, может, как бы, якобы*), повторяющихся конструкций, отвергающих возможность объяснения: *так случается, так вышло, такая жизнь, такое невысшимое обстоятельство* – но ими тоже полна наша жизнь.

На интонационно-синтаксическом уровне ее прозы мы тоже имеем дело с парадоксальным сочетанием дробления / присоединения, членности / непрерывности. С одной стороны, фраза разворачивается не плавно, а прерывисто, она как бы разобрана на части, каждая из которых претендует на известную самостоятельность, ударность. Внутренние швы предложения становятся явными, подчеркнутыми, они не прячутся, а выставляются наружу. При этом возможны самые разнообразные дробления фразы: могут быть отделены однородные сказуемые, части сложносочиненного предложения, главное от придаточного, зависимое слово, причастный и деепричастный оборот от главного и т.п. Именно это явление лингвисты именуют парцелляцией (от лат. – дробление). С другой стороны, единство и непрерывность потока речи создаются многочисленными присоединениями, которые перебрасывают мостики между фразами и между абзацами. Большая часть из них начинается присоединениями и повторяет рисунок внутри абзаца. Характер этих построений также связан с разговорной речью и определен двойственностью ее природы: легкой членностью, дробностью и одновременно непрерывностью речевого потока. Например: “Толик буквально загонял меня каждый раз в угол, нахально и отчетливо произнося какие-то дикие слова, причём смеялся. Причём намного ниже меня будучи. Но крепенький, прямой, как стрела, с высоко поднятой головой.

Не пухлый младенец Амур, не женственный Аполлон – а резкий, выгнутый, напряженный туберкулезный мальчик. Точно нацеленный. Знающий свои права.

Он шел среди них как провал, как зияние. Как пустота, все раступались, и он шел один в этом пространстве”.

Такие конструкции передают непоследовательность, беспорядочность смятенных мыслей влюбленной девочки. Плавность течения фразы сознательно разрушается не только графически – абзачным

отступом, но и логически – возникают семантические сдвиги, сломы, скачки, отражающие дискретность сознания. Стыки контрастных речевых средств работают на спонтанность, заведомую неправильность речи. В прозе Петрушевской отдается явное предпочтение сочинительной связи, идет сплошной п а р а т а к с и с (от греч. – выстраивание рядом). Многие предложения и даже абзацы начинаются с сочинительного союза:

“И вот девочка, порастерявшая все свои мелочи, не может жить без карандаша, ластика и линейки, без расчески, лент и заколок и пишет маме письмо, дорогая мамочка, как ты поживаешь, я живу хорошо, привези мне – и целый список” (“Незрелые ягоды крыжовника”).

Нагромождение присоединительных конструкций парадоксально смещает семантический фокус предложения. Там, где можно поставить точку, ставится запятая – и наоборот, запятая превращается в совершенно особый интонационный знак препинания. Приведем несколько примеров такого рода: «Деловито, как гурьба хирургов, руководствуясь чувством необходимости или единым инстинктом при виде жертвы, они в конечном итоге должны были ее разорвать на части буквально руками и закопать остатки, так как потом надо было скрыть результат охоты. Перед тем проделавши все, что можно проделать с попавшим в собственность живым человеком. Что называется словом “глумление”». От большого синтаксического периода отделяются, парцеллируются деепричастный оборот и присоединительная конструкция, получающие таким образом подчеркнуто самостоятельное значение.

Или: “Дядя Леша был приятно удивлен и обзвонил всех участников сбора денег, все были рады, но уже через некоторое время Настя опять позвонила и торжественно, голосом девятилетнего ребенка сообщила, что села на иглу.

Как будто бы это было для нее торжественное событие типа получения награды или аттестата зрелости.

То есть решила стать кем-то, не будучи до сих пор никем”. На месте основной семантической границы стоит сочинительный союз *но*, а придаточное предложение и пояснительная конструкция, вычлененные в новый абзац, получая автономное существование, усиливают смысл сказанного.

Еще пример: “Сидящих за столом родная почва не отсылала, редко отпускала в командировки зарабатывать какие-то деньжонки в марках, франках или фунтах, причем сидящие со смехом обменивались историями, как кого обманули там и там, и печной горшок (звали ее донна Анна неизвестно почему) не отзывался, горя своим теперь уже медным огнем, медью отвечивали глаза, и рот, и даже светлые кудри, Анна хорошела на втором стакане – такая стадия, – хорошела неотразимо, все вокруг теснее сбивались, пели, кричали, чувствуя свое брат-

ство, а потом донна Анна падала. Стукалась медным горшком об стол”. Синтаксические единицы нанизываются последовательно на одну нить по принципу контаминации, и предложение, достигнув критической точки, рвется, отторгая и тем самым выделяя, семантически акцентируя однородное сказуемое.

Знаки препинания у Петрушевской непосредственно связаны со смещением смысловых акцентов. Писательница посредством синтаксиса и пунктуации вносит в текст ту информацию, которую считает необходимой для адекватного понимания. Самое существенное знание в тексте Петрушевской зачастую передается самым концом синтаксического периода или придаточным предложением, куда смещается смысловой акцент. Например: “Уже девочка бегала в свои четырнадцать лет, что-то устраивала, поскольку папу нашли на дороге рано утром, сердце. А кто говорил: доза”. Эти странные смысловые сдвиги А. Барзах назвал “смещением семантического фокуса”, диссонансом, спрятанным в самой структуре предложения (Барзах А. О рассказах Л. Петрушевской: Заметки аутсайдера // Постскрипtum. 1995. № 1. С. 251).

Противоречия и диссонансы, явленные на лексическом и синтаксическом уровнях, как бы гармонизируются, уравниваются интонационно на уровне повествовательного контрапункта. Метроном повествовательной речи всегда стоит на отметке “умеренно”, убыстряя или замедляя темп только в пределах заданного диапазона. Рутинная повседневность предстает драматически-музыкальной. “Музыка и музыка, два полюса земного существования, два края жизни. Автор все время держит в памяти обе предельные точки разом, различая в возвышенной гармонии фальшь заигранных клавиш, а в рутине дольнего – богоданную музыку бытия” (Тименчик Р. Послесловие к кн.: Петрушевская Л. Три девушки в голубом. Пьесы. М., 1989. С. 396).

В подтверждение исследовательской метафоры предлагаем разбор двух симметричных фрагментов рассказа “Незрелые ягоды крыжовника”. Первый: «Девочка эта была я, двенадцатилетнее существо, и я буквально заставляла умеющую играть Бетти учить меня. В конце удалось вызубрить песенку “Едут леди на велосипеде”, левая пятерня болтается между двумя клавишами, отстоящими друг от друга как раз на расстоянии растопыренных пальцев – большого и мизинца (между до и соль), а правая под это ритмическое бултыханье (до – соль, до – соль) выделяет мелодию, блеск». Второй: “Сил у ребенка двенадцати лет не хватает, чтобы справиться со своей буйной натурой, чтобы следить за собой и быть образцом поведения, аккуратности и молчаливости. Сил не хватает, и ребенок буйствует, бегаёт, кричит, чулки рвутся, ботинки мокрые от этой беготни по уже сырому осеннему парку, рот не закрывается, крик исходит из грудной клетки, потому что идет игра в колдунчики или в казаки-разбойники. И в школе тоже

на переменах беготня по коридорам, волосы трепаные, из носу течет, то и дело драка, красота!” Симметрия лексическая и синтаксическая очевидна: *болтается, растопыренные, бултыханье, выделявает* – в первом случае, и *бегают, кричит, рвутся, беготня, крик, драка, волосы трепаные, из носу течет* – во втором. Заключительная фигура (*блеск-красота!*) не оставляет сомнения в сознательной симметрии, дополняя к лексической и синтаксической еще и экспрессивную. Диссонансы лексические и синтаксические как бы нейтрализуются на уровне интонационном.

Соразмерность синтаксических фрагментов, пропорциональность отрезков между паузами, свободное дыхание внутри фразы создают темпоритм, соотносимый с музыкальным *анданте* (умеренно): абзац-пауза, чинно, размеренно, грустно, пять фигур бального танца: “Это был падекарт, старинный минует с приседаниями.

Мы взялись за руки ледяными пальцами и деревянно прошли весь танец, приседали, он кружил меня за поднятую руку, слегка приподнявшись на цыпочки.

Это было начало пятидесятых годов, детей учили чинным танцам Смольного института благородных девиц.

Черный Толик замер, не смеялся, было не до шуток, дело зашло слишком далеко, все его насмешки подтвердились. Скрывать мне уже было нечего. Я плакала, текли сопли.

Толик уважал меня, мое состояние, и даже проводил до какой-то колонны, а потом вернулся к своим.

Я ушла в дортуар и плакала до прихода девочек”.

Таким образом, в прозе Петрушевской сделана попытка разрушить безраздельное доминирование нормативного синтаксиса, обнажить “зазор” между синтаксическим и семантическим рисунком текста.

Челябинск

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СТИЛИЗАЦИЯ И ПАРОДИЯ

© В. П. МОСКВИН,
доктор филологических наук

Объект стилизации (“чужая речь”) очень точно и лаконично определил еще М.М. Бахтин (см.: Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 214–215), функцию – Л.В. Щерба, отметив, что посредством стилизации художественные тексты “рисуют все то разнообразие разговорных, социальных и отчасти и географических диалектов, которые объединяет... данный язык. Через язык р и с у е т с я та социальная среда, к которой принадлежат действующие лица” (Щерба Л.В. Современный русский литературный язык // Избранные работы по языкознанию и фонетике. Т. 1. Л., 1958. С. 119; разрядка наша. – В.М.) Обобщая эти два наблюдения, определим **стилизацию** как воспроизведение особенностей (или “к о л о р и т а”) чужой речи в изобразительных целях.

Виды стилизации выделяются в соответствии с ее изобразительными функциями. Здесь необходимо заметить, что каждый из таких видов, взятый отдельно, специалистам известен, однако достаточно подробной непротиворечивой типологии мы до сих пор не имеем, что, на наш взгляд, связано с некоторой неясностью в соотношении таких понятий, как стилизация и пародия.

Палитра стилизационных средств русского языка достаточно богата, чтобы изобразить речь любой местности, любой социальной, возрастной, профессиональной, национальной группы людей, о которых ведется повествование. Так, средства **исторической стилизации** используются при изображении событий, имевших место в прошлом; с этой целью широко привлекаются историзмы и архаизмы, относящиеся к изображаемому времени, реже – соответствующие архаичные словоформы. Разновидностью данного приема является так называемая **архаизация** – подтип исторической стилизации, изображающей события далекого прошлого. В качестве примеров архаизации могут быть названы такие произведения А.С. Пушкина, как “Пророк”, “Песнь о вещем Олеге”, “Борис Годунов”:

Ц а р ь. Мне свейский государь
Через послов союз свой предложил;
Но не нужна нам чуждая помощь;
Своих людей у нас довольно ратных,
Чтоб отразить изменников и ляха.

Для создания **местного колорита** (калька французского термина *couleur locale*, изредка встречающегося и в русских научных текстах) обычно употребляются диалектизмы. Их активно использовали М.А. Шолохов (например, в романе “Тихий Дон”), Н. Сухов (в романе “Казачка”): “Свернули во двор к жагмерке Федюниной – солдатке Устинье”. В сценической речи иногда практикуется стилизация диалектного произношения – “прежде всего в спектаклях из жизни русской деревни, в ролях крестьян дореволюционной России и современных сельских жителей” (Кузнецова Л.Н. Варианты диалектного произношения в сценической речи // Литературная норма и вариантность. М., 1981. С. 193).

Национальный колорит создается посредством привлечения экзотизмов, или ксенизмов (ср. греч. *xenos* “чужой”) – слов, используемых при описании обычаев, особенностей быта, явлений из жизни других народов (*шаловары, гурия, мокасины, вигвам* и др.). Примеры стилизации этого типа – “Песнь о Гайавате” Г.У. Лонгфелло (русский перевод И.А. Бунина), рассказ “Сон Макара” В.Г. Короленко: “На старике (якуте) была рваная сона, большой ухастьый бергес, тоже рваный, кожаные старые штаны и рваные телячьи торбаса”.

Разновидностью национального считается **восточный, или ориентальный** (лат. *orientalis* “восточный”), **колорит**. Приведем пример из “Восточной сказки” В.Г. Короленко: “В стране, – говорил он, – где цветет лотос и священная река катит свои воды, не было браминов, более мудрых, чем Дарну и Пурана. Никто не изучал шастры лучше, и никто не погружался глубже в древнюю мудрость вед”.

При изображении речи иностранцев имитируются акцент, макароничность речи, типичные речевые ошибки. Герои рассказа И.С. Тургенева “Смерть”, проезжая мимо погибшей дубовой рощи, ведут следующий диалог: “–Mein Gott! Mein Gott! – восклицал на каждом шагу фон-дер-Кок. – Што са шалость! Што са шалость!

– Какая шалость? – с улыбкой заметил мой сосед.

– То ист как шалко, я скасать хотел. (Известно, что все немцы, одолевшие наконец нашу букву “люди”, удивительно на нее напирают”).

Профессиональный колорит создается посредством специальной терминологической лексики, а также профессионализмов (элементов профессионального жаргона). Примеры использования морских терминов с целью стилизации этого типа – “Морские рассказы” К.Н. Станюковича, повесть «Фрегат “Надежда»» А. Бестужева-Марлинского: “Один багор удачно вцепился в руль-тали, по шторм-трапу с горем пополам взобрались наши пловцы, чуть не утопленники, на ют. Пустую шлюпку мигом опрокинуло вверх дном, и через четверть часа на бакштове остался лишь один обломок шлюпочного форштевня”.

С целью профессиональной стилизации активно используются метафоры, созданные на основе терминов и профессионализмов:

Эй, славяне, что с Кубани,
С Дона, с Волги, с Иртыша,
Занимай высоты в бане,
Закрепляйся не спеша!

А.Т. Твардовский

Для создания профессионального колорита могут быть привлечены не только лексико-фразеологические, но и синтаксические средства. Так, по наблюдениям Д.Н. Шмелева, «характерно употребление страдательных и безлично-страдательных конструкций при описании действий каких-либо официальных лиц или учреждений, как бы вводящее в атмосферу их деятельности. Например, Чехов неоднократно применяет эти конструкции в рассказе “В суде”, где изображается заседание окружного суда: “К разбирательству было приступлено немедленно, с заметной спешкой”; “К двум часам было сделано многое”; “Были допрошены две бабы, пять мужиков и урядник...” и т.п.» (Шмелев Д.Н. Слово и образ. М., 1964. С. 90).

Имитация народно-разговорной речи лежит в основе **сказового стиля** (см.: Троицкий В.Ю. Лесков-художник. М., 1974. С. 180); в качестве примера назовем книгу сказов “Малахитовая шкатулка” П.П. Бажова, в основу которой положен уральский фольклор (подробнее см.: Гельгардт Р.Р. Стиль Бажова. Пермь, 1958). В некоторых своих произведениях сказовый стиль использовали Н.В. Гоголь (в цикле повестей “Вечера на хуторе близ Диканьки”), А.Т. Твардовский (в поэме “Василий Тёркин”), Н.С. Лесков (в повести “Очарованный странник”, в “Сказе о тульском Левше и о стальной блохе”) и др.

Просторечный колорит достигается за счет привлечения просторечной лексики, а также просторечных словоформ и оборотов:

– “Послушайте, Аграфёна Степановна, как я собственно желаю решить судьбу насчет своего сердца, так не побрезгуйте нониче ко мне на чашку кофию – притом же моя тетенька будет.

– Очинно приятно, – отвечала Груша и обещала быть беспременно” (В. Крестовский).

Как видим, “всякий, кто спонтанно употребляет слова и выражения, характерные для той или иной социальной среды, вольно или невольно заявляет о своей принадлежности к данной среде” (Балли Ш. Французская стилистика. М., 2001. С. 238). Элементы просторечия в целях стилизации активно использовали писатели-сатирики 20–30 гг. XX века (А. Аверченко, М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров).

Объектом изображения при стилизации может выступить не только язык той или иной “социальной среды”, но и речь отдельного лица. Имитация определенного диалекта лежит в основе жанра **подражания**. Как пример шутливой имитации стиля и тематических пристрастий Григория Остера приведем стихотворение Евг. Лесина “Первый

полезный совет”, написанное в этом жанре; для сравнения помещен один из текстов Г. Остера, извлеченный нами из его книги “Вредные советы”:

Если вам случайно поезд
Прищемил дверьми башку,
Машиниста не зовите,
Не кричите что есть сил.
А спокойно вслед бегите,
Вдоль по насыпи бегите,
Потому что очень скоро
Тоже будет остановка,
Где вы сможете сойти.

Е. Лесин

Если гонится за вами
Слишком много человек,
Расспросите их подробно
Чем они огорчены?
Постарайтесь всех утешить,
Дайте каждому совет.
Но снижать при этом скорость
Совершенно ни к чему.

Г. Остер

В жанре подражания писали А.С. Пушкин (цикл “Подражаний Корану”), М.Ю. Лермонтов (“Подражание Байрону”), Н.А. Некрасов (“Подражание Шиллеру”) и др. Объектом имитации в этом случае чаще всего становится стиль признанных образцов классической литературы, поэтому данный жанр, как правило, обращен к прошлому. От жанра подражания следует отличать **стилистическое эпигонство** – своего рода стилистический плагиат, когда автор, не имеющий собственного стиля, пытается присвоить чужой.

Список стилизационных типов, выявляемых по “объектам стилизации” (Бельчиков Ю.А. *Стилизация // Русский язык: Энциклопедия.* М., 1997. С. 539), носит практически открытый характер. Мы рассмотрели лишь те из них, которые получили терминологическое отражение, то есть наиболее частотные и значимые.

Средства стилизации могут вводиться в текст следующими двумя способами.

1. Через авторскую речь. К примеру, в рассказе И.С. Тургенева “Хорь и Калиныч” читаем: “В Орловской губернии последние леса и площадь исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет...”. «“Площадями”, – поясняет Тургенев в примечании, – называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов; орловское наречие отли-

чается вообще множеством своеобразных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных, слов и оборотов».

При этом способе стилизации нередко применяется прием **речевой маски**. Так, в разговорной речи с целью игровой “маскировки” могут быть использованы просторечные и диалектные вкрапления: “Он у нас настоящий [ү]ений!”, “Куды польта вешать прикажете?” и т.д. (см.: Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. М., 1983. С. 180–186). Речевую маску носителя просторечия используют и писатели – например, М. Зощенко:

“И действительно, граждане, взять хотя бы для примера нашего слесаря Петра Антоновича Коленкорова. Человек пропал буквально и персонально. И вообще жил как последняя курица. По будням после работы ел и жрал. А по праздникам напивался Петр Антонович до крайности. Беспредельно напивался. И в пьяном виде дрался, вола вертел и вообще пьяные эксцессы устраивал. И домой лежа возвращался”.

Приемом речевой маски “рассказчика из народа” активно пользуются авторы, пишущие в сказовом стиле.

2. Через реч ь п е р с о н а ж е й. Средства языка, используемые для речевой характеристики персонажа, иногда именуют **характерологическими**. Приведем пример из рассказа А.П. Чехова “Унтер Пришибеев”:

“Никто порядков настоящих не знает, во всем селе только я один, можно сказать, ваше высочордие, знаю, как обходиться с людьми простого звания (...) Все порядки знаю-с. А мужик – простой человек, он ничего не понимает и должен меня слушать, потому – для его же пользы. Взять хоть это дело к примеру... Разгоняю я народ, а на берегу на песочке утопый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Нешто это порядок?”.

Как видим, речи героев в целях характерологической стилизации часто придается внелитературный характер; именно поэтому в языке художественной литературы понятие нормы, ее требования (в области словоупотребления, словоизменения и т.п.) считаются применимыми прежде всего к а в т о р с к о й речи. Только здесь, по мнению ряда ученых, “язык художественной литературы отличается строгой нормативностью” (Бондалетов В.Д., Вартапетова С.С., Кушлина Э.Н., Леонова Н.А. Стилистика русского языка. Л., 1989. С. 209), в связи с чем некоторые специалисты предлагают понимать под художественным стилем лишь “авторскую речь в ее наиболее общем проявлении” (Баранникова Л.И. К вопросу о развитии функционально-стилевого многообразия языка // Вопросы стилистики. Вып. 7. Саратов, 1974. С. 64). Однако при стилизации, как следует из приведенных примеров, внелитературные элементы вполне могут быть использованы и в авторской речи.

Как известно, одним из требований к речи является ее ясность (понятность), стилизация же нередко вступает в конфликт с этим требованием, тем самым еще более осложняя взаимоотношения художественного текста с литературной нормой. И действительно, при употреблении таких стилизационных средств, как архаизмы и историзмы, жаргон, термины, а также диалектизмы, текст часто становится неясным. Читатели (и, соответственно, специалисты) реагируют на это по-разному.

1. Положительно: «Когда чеховский “генерал” кричит на свадьбе “Бейдевинд! Фок на гитовы!”, нам безразлично, что означают эти ужасные слова...», – считает П.В. Палиевский (Палиевский П. Образ или “словесная ткань”? // Вопросы литературы. 1959. № 11. С. 98). Приведем точку зрения В.Д. Левина: «А всегда ли нам так уж важно точное знание тех реалий, о которых упоминается в произведениях исторического жанра? Нередко достаточно самого общего представления о них да еще обязательного ощущения, что это “что-то из того времени”, и слово уже выполняет свою художественную функцию – быть средством исторической стилизации». Использование функционально ограниченной лексики при стилизации оценивается в этом случае “не столько со стороны коммуникативной, сколько со стороны эстетической, стилистической” (Левин В. Язык художественного произведения // Вопросы литературы. 1960. № 2; ср. также Шмелев Д.Н. Слово и образ. С. 43).

2. Отрицательно: «Что может понять читатель, встречая в повести В. Астафьева “Царь-рыба” слова *ханурики, имонать, шавраться, надыбать, уныкать, на тырлах, одыбаться, трахамудрия?*» – задается вопросом А.И. Федоров (Федоров А.И. Образная речь. Новосибирск, 1985. С. 53). В статье “Сказка за сказкой” В.Г. Беллинского читаем: «Казак Луганский утверждает, что не должно говорить так: “Казак оседлал лошадь свою как можно поспешнее, посадил товарища своего, у которого не было коня, к себе на круп и следовал за неприятелем, имея его постоянно в виду, чтоб при благоприятных обстоятельствах на него кинуться”, а должно вместо того говорить: “Казак седлал *уторопь*, посадил бесконного товарища *на забездры*, следил неприятеля *в назерку*, чтоб *при спопутности* на него ударить”. Воля его казацкая удали, а мы, люди письменные, равно не понимаем ни *уторопи*, ни *назерки*, ни *набедр*, ни *спопутности*. Переменять же нам Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Грибоедова, Пушкина на гувернеров из простонародья в овчинных тулупах и смурых кафтанах – уж поздно» (Русские писатели о языке. Л., 1955. С. 162). Именно этой читательской оценке соответствует одно из важнейших правил стилизации, в соответствии с которым при использовании этого приема социальные и территориальные “диалекты вводятся в ткань литературных произведений... не полностью, а лишь в очень немногих

элементах, являющихся как бы условными намеками на данные диалекты” (Щерба Л.В. Современный русский литературный язык. С. 119). Стилизация должна быть “легкой и умеренной”, – полагает А.В. Алпатов, цитируя как пример нарушения этого правила следующий неудобопонятный отрывок из “Повести о Болотникове” Г. Шторма (Алпатов А.В. Стилизация речи // Русская речь. 1970. № 4): “В Архангельском соборе отслужили молебен. Царь и бояре – в *зерцалах*, железных *мисюрках* с висящими до плеч сетками и в булатных *наручах* – потекли к воротам. Светло-вишнёвая *зуфь* шуб мешалась с дымчатой *обърю* зипунов”.

С использованием приема стилизации связана еще одна серьезная теоретическая проблема. Дело в том, что изображение, к примеру, просторечия предполагает употребление в художественном тексте просторечной лексики, просторечных форм и конструкций; при диалектной стилизации в текст попадают диалектизмы, при профессиональной – терминологическая лексика и т.д. Иными словами, художественная речь эксплуатирует ресурсы в с е г о национального языка: внелитературные элементы (просторечные, диалектные, жаргонные и др.), а также иноstileвые вкрапления – что, по мнению некоторых ученых, делает художественную речь “разностильной” (Левин В.Д. О некоторых понятиях стилистики // Вопросы языкознания. 1954. № 5. С. 80). Указанное обстоятельство, отмечаемое многими специалистами, как известно, является одним из аргументов для исключения языка художественной литературы из стилевой парадигмы литературного языка.

Художественная речь действительно включает внелитературные и иноstileвые элементы, “но в своеобразных комбинациях и в функционально преобразованном виде” (Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики // Вопросы языкознания. 1955. № 1. С. 85); здесь они используются для “изобразительных и характерологических целей” (Горшков А.И. Лекции по русской стилистике. М., 2000. С. 232). Думается, абсолютно прав был Д.Н. Шмелев, утверждая следующее: “Как вкрапления иноязычной речи в русский роман не делают этот роман нерусским, так и введение в тексты определенного функционального стиля иноstileвых элементов не может изменить их общей стилистической значимости” (Шмелев Д.Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. М., 1977. С. 32). Соображения же о том, что «в художественных текстах “встречается всё” и на этом основании “язык художественной литературы” должен быть якобы признан внеstileвой структурой, – эти соображения не имеют цены в науке, потому что, очевидно, смешивают языковой стиль и текст» (Головин Б.Н. Язык художественной литературы в системе языковых стилей современного русского литературного языка // Вопросы стилистики. Вып. 14. Саратов, 1978. С. 119). Соответственно, следует, видимо, при-

знать, что использование стилизационных (в частности, характерологических) средств не лишает художественную речь стилового статуса.

Изображение объектов при стилизации может быть не только адекватным (нейтральным), но и искажающим. Искажение может производиться либо с расчетом на комический эффект, либо с целью осмеяния изображаемого объекта; этим двум авторским замыслам соответствуют так называемая **комическая стилизация** и **пародия**.

Параметр, по которому типы стилизации членятся на нейтральные и искажающие, можно назвать **модальным**, поскольку он отражает определенное отношение к изображаемому объекту. Параметр классификации стилизационных типов по объектам имитации назовем **содержательным**. Модальные типы как бы накладываются на содержательные, поэтому определенную модальность – нейтральную, комическую либо пародийную – может приобретать любой из рассмотренных выше содержательных типов стилизации (историческая, просторечная и т.д.).

Как прием комической стилизации может быть использована фигура **парафраз**, состоящая в изменении лексического состава какого-либо выражения или текста, известных адресату: “И пахнет сырой грездой резедонт” (шутливый парафраз, принадлежащий В.В. Маяковскому; у Б.Л. Пастернака: “резедой горизонт”). Здесь следует заметить, что авторский замысел не всегда очевиден, поэтому различие комической стилизации и пародии нередко представляет трудность.

Пародия (греч. *parodia* “перепев”) может быть определена как функциональная разновидность искажающей стилизации, заключающаяся либо в воспроизведении определенных особенностей речи с целью высмеять ее носителя, либо в имитации тех или иных особенностей литературного произведения с целью высмеять его автора. Таким образом, этот прием “представляет собой средство раскрытия внутренней несостоятельности того, что пародируется” (Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. СПб., 1997. С. 100–101). Здесь необходимо подчеркнуть, что литературное произведение (а также стиль, жанр или литературное направление) – это лишь один из возможных объектов пародии; такую пародию принято именовать **литературной**. Так, объектом знаменитой литературной пародии М. Сервантеса “Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский” (1605–1615) является рыцарский роман. На самом же деле объектом пародирования может стать “решительно всё: движения и действия человека, его жесты, походка, мимика, речь...” (Пропп В.Я. Там же).

Как известно, термин *пародия* используется в двух значениях: 1) “жанр сатирической речи”; 2) “прием такой речи”. Во втором из указанных значений употребляется также термин *пародирование*.

Отличительной чертой пародирования является нарочито неумеренное нагнетание пародируемых элементов (архаизмов, диалектиз-

мов и т.п.) – как, например, в карикатурном изображении крестьянской речи: “Инда взопрели озимые. Рассупонилося солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился” (И. Ильф и Е. Петров).

Рассмотрим перевод следующего стихотворения бельгийского писателя-символиста Мориса Метерлинка, выполненный В.Я. Брюсовым:

И под кнутом воспоминанья
 Я вижу призраки охот.
 Полузабытый след ведет
Собак секретного желанья.
 Во глубь забывчивых лесов
 Лиловых грез несутся *своры,*
 И стрелы желтые – укоры –
 Казнят *олений лживых снов.*

Повод для читательской иронии в этом стихотворении дает, по мнению В.М. Жирмунского, “характерная для молодого Метерлинка иррациональная, необычная образность” (Жирмунский В.М. Введение в литературоведение: Курс лекций. СПб., 1996. С. 170), по мнению В.И. Новикова – «генитивная “зоологическая” метафора» (Новиков В.И. Книга о пародии. М., 1989. С. 402). Уточним: для русского языка абсолютно чужды такие метафоры; думается, что именно это обстоятельство и сделало перевод В.Я. Брюсова объектом следующей известной пародии:

На небесах горят паникадила,
 а снизу – тьма.
 Ходила ты к нему иль не ходила?
 Скажи сама!
 Но не дразни *гиену подозренья,*
Мышей тоски!
 Не то смотри, как *леопарды миценья*
 Острых клыки!
 И не зови *сову благоразумья*
 Ты в эту ночь!
Ослы терпенья и *слоны раздумья*
 Бежали прочь.
 Своей судьбы родила *крокодила*
 Ты здесь сама.
 Пусть в небесах горят паникадила.
 В могиле – тьма.

Прием использования зооморфных генитивных метафор показался Вл. Соловьеву, автору приведенного стихотворения, неудачным, и

он “подчеркнул” этот прием посредством обильного нагнетания. Та- кое до абсурда настойчивое подчеркивание иногда именуется **обнаже- нием приема** (термин введен В.Б. Шкловским). С этой целью активно используется, в частности, повтор словосочетаний и фраз с небольшо- ми вариациями – так называемая **эпимона** (греч. *epimone* “упорство, постоянство”). Вот как употребляет эту фигуру речи К.С. Аксаков, пародируя стиль повести “Двойник” Ф.М. Достоевского:

“Приемы эти схватить не трудно; приемы-то эти вовсе не трудно схватить; оно вовсе не трудно и не затруднительно схватить приемы- то эти. Но дело не так делается, господа; дело-то это, господа, не так делается; оно не так совершается, судари вы мои, дело-то это. А оно надобно тут, знаете, и тово; оно, видите ли, здесь другое требуется, тре- буется здесь тово, этово, как его – другово. А этово-то, другово-то и не имеется; таланта-то, господа, поэтического-то, господа, поэтического-то, господа, таланта, этак художественного-то и не имеется. Да вот оно, оно самое дело-то, то есть настоящее вот оно как; оно именно так”.

Поводом для пародии нередко становятся номинативные средства, используемые (в сравнении с некоторой усредненной общеязыковой нормой) излишне активно; такие средства, ставшие характеристикой определенного идиостиля, иногда именуется **стилевыми маркёрами** (ср.: Белянин В.П. Что структурируют литературные тексты // Этно- культурная специфика языкового сознания. М., 1996. С. 203–204). Из- вестно, что “особенно трудно пародировать стили, лишенные резких характерологических признаков. (...) И наоборот: чем определеннее, заметнее выражены характерные языковые особенности пародируе- мого произведения, индивидуального стиля и т.п., тем легче их выде- лить, утрировать, представить в комическом виде в пародии” (Горш- ков А.И. Лекции по русской стилистике. С. 232).

Многие ученые признают существование пародии, доброжела- тельной, дружественной по отношению к оригиналу и потому “не пре- следующей целей сатиры”. Такой подход к трактовке пародии, лежа- щий в основе ш и р о к о г о ее понимания, как известно, имеет дав- нюю традицию. В статье А.А. Потебни “Гипербола и ирония” читаем:

“*Пародия*. Государь император соизволил всемиловитейше бла- годарить Георгиевских кавалеров за молодецкую службу.

Министр юстиции изволил благодарить чинов судебного ведомст- ва за ухарскую службу.

Министр народного просвещения изволил благодарить профессо- ров университета за лихое чтение лекций и студентов за залихватское их посещение.

Архирей – настоятеля N-ой церкви за бравое и хватское исполне- ние им обязанностей” (Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М., 1990. С. 281).

Такое понимание пародии вполне согласуется со старинным ее определением как “забавной переделки важного сочиненья, смешного или насмешливого подражания; перелицовки, сочиненья или представления наизнанку” (Даль Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. III. М., 1994. С. 19). Если же считать, что пародия, в узком смысле этого термина, является “жанром критико-сатирической литературы” (Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966. С. 195), представляющим собой “сознательную стилизацию, сознательное воспроизведение особенностей стилистической манеры в намеренно карикатурном виде с полемической целью” (Жирмунский В.М. Введение в литературоведение. С. 168), имитацию “с целью осмеяния” (Бен Г.Е. Пародия // Краткая литературная энциклопедия: в 9 т. Т. 5. М., 1968. Стб. 605), то второе, третье и четвертое высказывания, приведенные А.А. Потебней, следует трактовать как шутливо-игровые парафразы, комическую стилизацию слов “государя императора”, а не как пародию на эти слова (о фигуре парафразы см.: Москвин В.П. Цитирование, аппликация, парафраз: к разграничению понятий // Филологические науки. 2002. № 1. С. 63–70).

Объектом парафразирования может стать и текст; этот вид парафразы именуется **травестированием** (франц. travestir “переодевать”), а также **перепевом**. Сравним два следующих стихотворения:

Исходный текст:

Шепот: Робкое дыханье,
 Трели соловья.
 Серебро и колыханье
 Сонного ручья.
 Свет ночной. Ночные тени, –
 Тени без конца.
 Ряд волшебных изменений
 Милого лица.
 В дымных тучках пурпур розы,
 Отблеск янтаря,
 И лобзания, и слезы, –
 И заря, заря!...
 А. Фет

Производный текст:

Топот, радостное ржанье,
 Стройный эскадрон,
 Трель горниста, колыханье
 Веющих знамен,
 Пик блестящих и султанов;
 Сабли наголо,

И гусаров и уланов
 Гордое чело;
 Амуниция в порядке,
 Отблеск серебра, –
 И марш-марш во все лопатки,
 И ура, ура!...
 Д. Минаев

Основу шуточного стихотворения Д. Минаева составляет “ритмико-интонационный макет” (выражение Ю.Н. Тынянова) лирического стихотворения А. Фета, в которое посредством лексических замен “включена инородная тема” (Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 289). Сменилась лексическая база исходного текста, однако необходимый опознавательный минимум (ритмико-интонационный и синтаксический каркас, именной стиль, отдельные слова), соотносящий производный текст с исходным, остался.

Является ли рассмотренная комическая стилизация пародией на оригинал?

В “Словаре лингвистических терминов” О.С. Ахмановой находим следующее определение: “ПАРОДИЯ *англ.* parody. Специфическое использование различных языковых средств в целях комического подражания стилю какого-л. писателя или литературного произведения. *Пародия Минаева на стихотворение Фета.* Холод, грязные селенья, Лужи и туман, Крепостное разрушенье, Говор поселян (*ср. у Фета:* Шепот, робкое дыханье. Трели соловья, Серебро и колыханье Сонного ручья)” (Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969. С. 313; разрядка наша. – В.М.). Заметим, что еще Ю.Н. Тынянов, определяя соотношение стилизации и пародии, отметил, что “стилизация, комически мотивированная или подчеркнутая, становится пародией” (Тынянов Ю.Н. Указ. соч. С. 201; разрядка наша. – В.М.)

Стихотворение Д. Минаева, извлеченное нами из “Книги о пародии” В.И. Новикова (С. 311), действительно рассчитано на комический эффект, однако не преследует целей “раскрытия внутренней несостоятельности” и “осмеяния” исходного текста, а следовательно, пародией (по крайней мере, в узком понимании этого термина) не является.

Специалисты нередко сетуют на то, что существующие определения пародии противоречивы, “крайне туманны, расплывчаты” (Новиков В.И. Указ. соч. С. 19); на то, что такие определения “позволяют отнести к этому жанру буквально все что угодно” (Морозов А.А. Пародия как литературный жанр: К теории пародии // Русская литература. 1960. № 7. С. 49). Думается, что “туманным и расплывчатым” оп-

ределение пародии как “к о м и ч е с к о г о образа художественного произведения, стиля, жанра” (Новиков В.И. Указ. соч. С. 5; разрядка наша. – *В.М.*) делает попытка объединить в пределах одной дефиниции два очень разнородных и, на наш взгляд, не сводимых к одному понятию феномена; 1) “юмористическую, или шуточную пародию”, которая “занимает дружескую или по крайней мере нейтральную позицию по отношению к своему оригиналу, не стремясь его дискредитировать” и потому “сближается с комической стилизацией”; 2) “сатирическую пародию”, которая “занимает враждебную или резко критическую позицию по отношению к оригиналу”, “нападает на идейную и эстетическую сущность произведения пародируемого автора или целого направления” (Морозов А.А. Указ. соч. С. 68). Нам представляется, что для выхода из классификационного тупика оппозиция “комическое – сатирическое” должна быть отнесена не к пародии, а к стилизации.

Подводя итоги нашему исследованию, сделаем следующие выводы.

1. Классификация стилизационных типов должна производиться по двум параметрам – содержательному и модальному.

2. Внутреннее членение стилизации по модальному параметру может быть представлено в виде следующей схемы:

1) стилизация н е й т р а л ь н а я, изображающая свой объект адекватно;

2) стилизация, и с к а ж а ю щ а я объект (именно здесь напрашивается традиционное сравнение с кривым зеркалом); такая стилизация по отношению к авторскому замыслу членится на два типа:

а) к о м и ч е с к а я, или юмористическая, шуточная (возникающая, например, при травестировании текста) – этот тип стилизации можно уподобить зеркалу в комнате смеха или дружескому шаржу;

б) с а т и р и ч е с к а я (выше данный тип стилизации обозначен как пародия в узком смысле) – этот тип стилизации традиционно сравнивается с карикатурой.

Не вполне четкое разграничение типов (а) и (б) ведет к широкому пониманию пародии.

Волгоград

ШКОЛА ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

© М. Н. ПАНОВА,
кандидат филологических наук

II

В первой статье (Русская речь. 2003. № 3) мы рассказали о небольшом корректировочном орфоэпическом курсе для работников органов управления, обучающихся в Российской академии государственной службы. Владение орфоэпическими нормами русского языка слушатели академии, как правило, признают полезным для своей профессиональной деятельности, в то время как уровень их орфографической грамотности – часто весьма невысокий – не вызывает у них тревоги. Видимо, некоторые госслужащие уповают на своих помощников: секретарей-референтов, корректорскую службу, специальные компьютерные программы, которые “запятые проставят”.

Ситуация, когда на страницах газет и книг мы постоянно сталкиваемся с многочисленными ошибками и опечатками, когда “теряют свою безапелляционную обязательность даже орфографические и пунктуационные предписания” (Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1997. С. 260), к сожалению, подкрепляет такое равнодушно-пренебрежительное отношение к правописанию как к чему-то второстепенному, маловажному.

Не способствуют престижу грамотного письма и разночтения в орфографических словарях, и затянувшаяся в СМИ дискуссия по поводу утверждения новой редакции “Свода правил русского правописания”, в которой громче других звучали голоса некомпетентных журналистов, настраивавших общественность против предлагавшихся изменений, искажая их суть. К стати, может быть, это недемократично, но не дает покоя “крамольная” мысль: не свидетельствует ли судьба, постигшая новую редакцию “Свода...”, о сомнительной пользе проведения маркетинговых исследований в сфере, где каждый считает себя авторитетным специалистом? Неустойчивость, условность некоторых орфографических и пунктуационных норм – одна из причин того обстоятельства, что не каждый госслужащий утвердительно ответит на вопрос о важности и практической пользе орфографической грамотности.

Существуют также и противоречия между рекомендациями, содержащимися в орфоэпических словарях, с одной стороны, и в ведомственных инструкциях и правилах подготовки документов, с другой. Так, во многих ведомственных инструкциях предлагается использование прописной буквы для маркирования высокого социального статуса

служебных должностей, названий учреждений, подразделений органов управления, например: *Мэр, Губернатор, Аппарат*. В тексте Конституции Российской Федерации оба компонента словосочетания *Государственная Дума* употребляются с прописной буквы, а в “Русском орфографическом словаре” (М.: Азбуковник, 1999) рекомендуется писать *Государственная дума* (второе слово – со строчной буквы). Разумеется, госслужащие предпочитают более авторитетные для них предписания государственных законов и служебных документов.

Что касается мифа о всесильной компьютерной корректуре, то она не всегда возможна. В частности, если речь идет об омофонах (*поджог–поджѣг, преступить–преступить*); словах, различающихся одной буквой (*цент – центр, ведь – медь*), которые компьютер не подчеркнет на дисплее. Он также, например, не распознает ошибку в слове *колона* (вместо *колонна*), приняв его за существительное *колон* (в Древнем Риме арендатор участка земли, принадлежащего крупному землевладельцу) в форме родительного падежа. То же можно сказать о трудных случаях правописания частицы *не*, союзов *тоже, также, чтобы, причем* и др. и словосочетаний *то же, так же, что бы, при чем* и т.д.

Кроме того, орфографическая компьютерная программа может быть устаревшей. И если компьютер все может, то почему так много опечаток и ошибок в текстах СМИ и художественной литературы, изданных в последние годы? Не говоря уже о том, что существует реальная угроза попасть в электронное рабство и разучиться думать, а позже испытывать стыд, мучаясь над личной запиской “от руки” своему коллеге. Конечно, госслужащие, в отличие от редакторов и корректоров, не должны знать наизусть все правила, исключения и тонкости русской орфографии. И, наверное, неспроста на страницах специальных изданий обсуждается тема “смягчения нравов” орфографии в школе, что объясняется жесткой системой оценивания ошибок. Но все же... разве орфографическая грамотность не признак образованности человека, разве правописание не один из важнейших элементов национальной культуры, разве потеряли актуальность слова Л.В. Щербы о том, что “писать правильно требует социальная порядочность”? (Щерба Л.В. Безграмотность и ее причины // Избранные работы по русскому языку. М., 1957).

В архиве знаменитой актрисы Ф. Раневской есть запись, объясняющая ее нежелание написать мемуары: “...К тому же я опять стала делать ошибки, а это постыдно. Это как клоп на манишке” (Раневская Ф. Случаи, шутки, афоризмы. М., 2003. С. 7).

Непонимание значения правописания, нежелание овладеть приемами самоконтроля и языковой дисциплины приводят к реальному снижению грамотности. Мы наблюдаем это на примере результатов вступительного тестирования по русскому языку, которое уже трижды проводилось для абитуриентов – госслужащих, поступающих в

РАГС. Так, в 2003 году удовлетворительные и неудовлетворительные оценки получили более половины абитуриентов. К счастью, в системе госслужбы работают и люди, умеющие писать грамотно и обходиться без секретарей и компьютеров: более 10 процентов абитуриентов получили отличные оценки, а более 30 процентов – хорошие.

Обычно абитуриентам предлагается текст, который включает в себя задания по орфографии, пунктуации и культуре речи. Цель тестирования – проверить знания в пределах школьной программы. Большинство заданий – на проверку орфографической и пунктуационной грамотности. Это обусловлено тем обстоятельством, что во времена, когда наши абитуриенты учились в школе – а они, как правило, люди зрелого возраста, – на уроках русского языка господствовал орфографоцентризм, и с орфографией они знакомы лучше, чем с другими разделами культуры речи. Из этой объективной реальности мы и исходим при составлении текста. Однако мы прекрасно понимаем: знанием правил правописания не исчерпывается степень владения нормами русского языка. Хотя, надо сказать, ошибки типа “сыграть тушБ”, “цЕничный человек” или постановка двоеточия вместо тире в предложении “Чин следовал ему – он службу вдруг оставил” и им подобные дают некоторое представление и об общей культуре человека, и о понимании им логико-смысловых связей предложения, и о чувстве языка в целом.

Исходный уровень знаний слушателей свидетельствует о необходимости выделения орфографического аспекта и проведения хотя бы нескольких корректировочных занятий по орфографии и пунктуации в рамках курса “Русский язык и культура речи”, который предлагается всем обучающимся в академии. Недостаток времени не позволяет устроить повторение всех орфографических и пунктуационных тем в полном объеме. Поэтому отбирается коммуникативно значимый в данной профессиональной среде материал. Орфографические навыки формируются здесь с учетом характера профессиональной деятельности слушателей, так что в первую очередь мы учим грамотно составлять деловые бумаги. А для начала разбираем распространенные ошибки.

Остановимся на некоторых из них. Это так называемые грамматико-орфографические ошибки.

Конструкциям с предлогом *после* присущ разговорный характер, например: “работать в банке *после окончания института*”. Для письменной деловой речи в данном случае, то есть при обозначении действия или события, после которого что-либо происходит, уместнее конструкция “предлог *по* + существительное в предложном падеже”: *по окончании института*. Часто здесь ошибочно используется дательный падеж: “*по окончании института*”, “*по приезде в город*” вместо правильного *по приезде*.

Для письменной деловой речи характерно использование производных предлогов. Ошибки, связанные с их написанием, тоже можно назвать грамматико-орфографическими. Предлог *несмотря на*, который всегда пишется слитно, следует отличать от деепричастия с частицей *не*, которая пишется раздельно, например: “несмотря на обстоятельство”, но “не смотря на собравшихся, он сказал...”.

Предлоги *благодаря*, *согласно*, *вопреки*, активно используемые в деловой речи, употребляются с существительными в форме дательного, а не родительного падежа. Типичная ошибка – “согласно приказу”, “вопреки распоряжению” вместо правильного *согласно приказу*, *вопреки распоряжению*.

Предлог *ввиду* употребляется с существительными в форме родительного падежа и пишется слитно. Словосочетания с этим предлогом имеют значение причины: *ввиду (из-за) плохих результатов*. Однако следует обратить внимание на то, что выражение “иметь в виду” пишется в три слова: *надо иметь в виду, что...* Сходный по звучанию предлог *в виде* в значении “наподобие” пишется раздельно: “представить результаты *в виде таблицы*”.

Следует также различать написание существительных *отсутствие* и *присутствие* с предлогом *в*: “в отсутствие” – когда кто-либо отсутствует (винительный падеж) и “в присутствии” – когда кто-либо присутствует (предложный падеж). Например; “*В отсутствие партнеров* мы не можем решить этот вопрос”; “*В присутствии руководителя* были обсуждены важные документы”. Однако в предложении “Он упрекнул нас *в отсутствии честолюбия*” существительное *отсутствие* употребляется в предложном падеже и имеет окончание *и*.

Существуют и распространенные в деловых бумагах пунктуационные ошибки. В частности, вызывает затруднения обособление оборота с союзом *как*; обстоятельств, выраженных существительными с предлогами *благодаря*, *ввиду*, *вследствие*, *вопреки*, *по причине*, *при условии*, *при наличии*, *согласно*, *с согласия*, *в отличие*, *во избежание*, *в соответствии*, которые в учебных пособиях и справочниках по правописанию рекомендуются обособлять факультативно. Их обособление зависит от степени распространенности оборота, позиции по отношению к сказуемому, смысловой близости основной части предложения; часто обособление связано с необходимостью дополнительного пояснения. На занятиях анализируются примеры такого типа:

Вследствие наводнения положение в области чрезвычайное.

Положение в области, вследствие редкого в этих краях наводнения, МЧС оценивает как катастрофическое.

Согласно приказу он приступил в работе.

Он, согласно приказу, переведен в другой отдел.

На краткосрочных курсах повышения квалификации руководящих работников мы также проводим специальное занятие по русскому языку, на котором после небольшой лекции о культуре речи как составляющей профессиональной компетентности государственного служащего предлагаем слушателям выполнить тест, состоящий из трех микротекстов. В них представлен материал важных орфографических и пунктуационных блоков: правописание производных предлогов, сложных прилагательных, окончаний существительных; обособление оборотов с союзом *как*, вводных слов и т.д.

Предлагаем и вам, уважаемые читатели, выполнить такое же задание и тем самым проверить себя:

Вместо точек вставьте нужную букву, где это необходимо; раскройте скобки и напишите слитно, через дефис или отдельно слова в скобках и примыкающие к ним; выделенные курсивом слова и словосочетания в скобках употребите в нужном падеже; расставьте пропущенные знаки препинания.

1. М...рия Москвы заключила договор... с рядом социологических центров для проведения исследования общественного мнения жителей Москвы по вопросам (социо)демографической и (социально)экономической политики правительства Москвы. Сотрудники социологического аген...ства провели опрос москвичей представляющих различные (социально) профессиональные группы. В нем уча...ствовали (социально) активные москвичи. Опрос был посв...щен эф...ektivност... работы органов госуправления и пр...в...легиям представителей власти. Результаты опроса были оценены по пятибал...ьной системе. Газета "АиФ" написала что (во) время зарубежных поездок "свита премьер-министра включает помо...ника председателя правительства, старшего ад...ютанта, двух замов руководителя ап...арата, начальника (пресс)службы, юрис...консульта, (видео) и (звучо)операторов".

2. Я р...з...скиваю книгу которая называется "Национальные образы мира". Ее написал (н...) кто иной как извес...ный культуролог Георгий Гачев. Пред...стория этой книги такова еще 40 лет назад Гачев стал изучать м...нт...литет этносов населяющих Северную Еврозию.

(Не) без...интересно было бы прочитать и книгу "Управление финансами" в которой автор пред...гает предр...н...мателям во избежани... банкротства предприятия сокр...тить продолжительность ком...ерческого цикла, наладить работу дил...ерской сети и (во) обще искать выход из кризисов (за) счет рес...урсов производства. Кажется она вышла в издательстве "Просв...щение".

Писатель А. Битов говорит: «Слово "кар...ера" раньше считалось неприличным. Я имею (в)виду что слова "кар...ера", "час...ник",

“д...с...идент” имели “отрицательный” оттенок. Сейчас все изменилось но для меня слово “кар...ера” (по)прежнему имеет (то) же значение, я отношусь к нему (так) же как и раньше».

3. (В) виду скорого отъезда заведомо в командировку было проведено совещание. На совещании Петр Петрович сказал что в отсутствии... руководства он предоставил Алексееву внеочередной отпуск согласно (*его личное заявление*) (в) следствии... чего нагрузка на каждого сотрудника увеличивается. Потом он подвел предв...рительные итоги прохождения стаж...ровки в отделе двумя аспирантами:

«Стаж...р Андреев инт...л...ектуал, инт...л...гент, добросовес...ный налогоплательщик. Как человек ответственный он многого добьется. Это буду...щий профес...ионал, ас... Он занимается вопросами (кадрово)управленческой работы в (промышленно) развитых странах и уже подготовил дис...ертацию на тему “Госслужба как социальный институт”. На прот...жени... стаж...ровки он прекрасно себя зарекомендовал. Кстати вчера его вызвали в суд как свидетеля по делу о кор...упции.

(В) отличи... от него стаже...р Федоров человек рас...четливый, кон...ю...ктуристик, без...нициативный, работает (в)полсилы, к тому же неак...уратный. Посмотрите на его рабочий стол куски копч...ной колбасы, печ...нки, карбона...а, грейпфру...ты, серебрян...ый медаль...н. Как говорит...ся ком...ентарии излишни. Он все делал напекор (*наши требования и пожелания*). После общения с ним заводом находился в пред...инфарктном состояни... (в) течени... месяца. Как вы знаете (пол)лета он лежал в больнице, но (в) продолжени... зимы (н...) разу не болел. (В) связи со сложившейся ситуацией (в) последстви... желательно обсуждать кандидатуры стаж...ров заранее. Мы заинтересован...ы в (профессионально) подготовленных кадрах. По (*прибытие, проезд*) заводом в Москву мы еще раз вернемся к вопросу (профессионально) деловой квалификации сотрудников».

(В) заключени... Петр Петрович подчеркнул что несмотря на отдельные недостатки (в) общем наш отдел справился с трудной задачей.



Ответы на задание (см. с. 62)

1. Мэрия Москвы заключила договоры с рядом социологических центров для проведения исследования общественного мнения жителей Москвы по вопросам социодемографической и социально-экономической политики правительства Москвы. Сотрудники социологического агентства провели опрос москвичей, представляющих различные социально-профессиональные группы. В нем участвовали социально активные москвичи. Опрос был посвящен эффективности работы органов госуправления и привилегиям представителей власти. Результаты опроса были оценены по пятибалльной системе. Газета «АиФ» написала, что во время зарубежных поездок «свита премьер-министра включает помощника председателя правительства, старшего адъютанта, двух замов руководителя аппарата, начальника пресс-службы, юрисконсульта, видео- и звукооператоров».

2. Я разыскиваю книгу, которая называется: «Национальные образы мира». Ее написал не кто иной, как известный культуролог Георгий Гачев. Предыстория этой книги такова: еще 40 лет назад Гачев стал изучать менталитет этносов, населяющих Северную Евразию.

Небезынтересно было бы прочитать и книгу «Управление финансами», в которой автор предлагает предпринимателям (,) во избежание банкротства предприятия (,) сократить продолжительность коммерческого цикла, наладить работу дилерской сети и вообще искать выход из кризиса за счет ресурсов производства. Кажется, она вышла в издательстве «Просвещение».

Писатель А. Битов говорит: «Слово «карьера» раньше считалось неприличным. Я имею в виду, что слова «карьера», «частник», «диссидент» имели «отрицательный» оттенок. Сейчас все изменилось, но для меня слово «карьера» по-прежнему имеет то же значение, я отношусь к нему так же, как и раньше».

3. Ввиду скорого отъезда заведомо в командировку было проведено совещание. На совещании Петр Петрович сказал, что в отсутст-

вие руководства он предоставил Алексееву внеочередной отпуск согласно его личному заявлению, вследствие чего нагрузка на каждого сотрудника увеличивается. Потом он подвел предварительные итоги прохождения стажировки в отделе двумя аспирантами:

«Стажер Андреев – интеллектурал, интеллигент, добросовестный налогоплательщик. Как человек ответственный, он многого добьется. Это будущий профессионал, ас. Он занимается вопросами кадрово-управленческой работы в промышленно развитых странах и уже подготовил диссертацию на тему “Госслужба как социальный институт”. На протяжении стажировки он прекрасно себя зарекомендовал. Кстати, вчера его вызвали в суд как свидетеля по делу о коррупции.

В отличие от него стажер Федоров – человек расчетливый, конъюнктурщик, безынициативный, работает вполсилы, к тому же неаккуратный. Посмотрите на его рабочий стол: куски копченой колбасы, печенки, карбонада, грейпфруты, серебряный медальон. Как говорится, комментарии излишни. Он все делал наперекор нашим требованиям и пожеланиям. После общения с ним заводделом находился в прединфарктном состоянии в течение месяца. Как вы знаете, пол-лета он лежал в больнице, но в продолжение зимы ни разу не болел. В связи со сложившейся ситуацией впоследствии желательно обсуждать кандидатуры стажеров заранее. Мы заинтересованы в профессионально подготовленных кадрах. По прибытии (приезде) заводделом в Москву мы еще раз вернемся к вопросу профессионально-деловой квалификации сотрудников».

В заключение Петр Петрович подчеркнул, что, несмотря на отдельные недостатки, в целом(,) наш отдел справился с трудной задачей.

МУЛЬТИМЕДИА

© А. В. ЗЕЛЕНИН,
кандидат филологических наук

Тезис “русский язык живет в наши дни чрезвычайно активной жизнью” стал уже расхожим и даже банальным. Обычно ставятся два ключевых вопроса: стал ли “новым” русский язык? что пошло ему на “пользу”, а что – “во вред”? На первый вопрос дается ответ обычно такой: русский язык переживает новый этап своей эволюции, и это вызвано, в первую очередь, нелингвистическими (экстралингвистическими) причинами – началом перестройки. Ответ на второй вопрос чаще всего облекается в эмоциональные и даже несколько аффектированные тона, поскольку он находится в плоскости оценок языка (личных или групповых), а не заметить языковых новшеств просто невозможно. Эти изменения описаны в наши дни довольно подробно с привлечением большого количества языковых фактов, подведены уже некоторые промежуточные итоги, выявлены тенденции.

В этой статье речь пойдет об одном активном элементе языковой системы – слове *мультимедиа*, которое появилось в русском языке совсем недавно, но практически сразу обзавелось мощным словообразовательным гнездом. Ср. мнение, высказанное еще в начале бурных языковых изменений: “Стоит появиться новой реалии, как вокруг обозначающего ее слова тотчас выстраивается целый ряд дериватов” (Скляревская Г.Н. Состояние современного русского языка // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. 20–23 мая 1991 г. Доклады. Ч. I. М., 1991. С. 39). Некоторые важные для современной жизни понятия (экономика, политика, туризм, новые бытовые приборы, техника) порождают большое количество производных. Они разрастаются, подобно огромным ветвистым деревьям: одни словообразовательные “веточки” приживутся и укрепятся в русском языке; другие – отомрут, оставив след лишь в словарях; третьи, уже сейчас выбросив словообразовательные “почки”, еще ждут своего часа. Одним из таких мощных словообразовательных “деревьев” в русском языке последних двух–трех десятилетий является группа слов с префиксом *мульти-*, а в “кроне” этого дерева укрепились ветвь “мультимедиа”.

Эта лексема действительно является новинкой: она не отмечается ни в известной книге В.Г. Костомарова “Языковой вкус эпохи” (первое издание – М., 1994), ни в академической монографии “Русский

язык конца XX столетия (1985–1995)” (М., 1996). Слово *мультимедиа* – новейшее заимствование из английского языка. Там оно появилось в самом начале 60-х годов XX века в сфере искусства (в поисках новых типов аудио-визуального воздействия на человека) как имя прилагательное и означало следующее: “указывающий на способ, вид объединения художественных, образовательных или коммерческих форм”: *multi-media publicity campaign* “публичная (общественная) кампания, презентация с использованием форм живописи, музыки и т.п.”, “искусство, синтезирующее музыку, живопись и т.п.” (The Oxford English Dictionary. Second ed. V. X. – Oxford, 1989. P. 82). Однако тогда это прилагательное оставалось лишь в пределах английского языка. В самом начале 90-х годов XX в. у него сформировалось новое употребление: оно было перенесено из сферы искусства в область компьютерной технологии и первоначально употреблялось также как имя прилагательное, но очень быстро трансформировалось в имя существительное (См.: Oxford Dictionary of new words. – Oxford, New York, 1991. P. 57–58).

Любопытно, что на первых порах в новой смысловой области слово употреблялось вместе с другой языковой новинкой – аббревиатурой CD (< compact disk). В отличие от предшествующего англицизма в искусствоведении, компьютерный термин *multimedia* мгновенно распространился по всему миру, свободно пересекая границы и языки.

В русском языке впервые это новое заимствование отмечает “Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые изменения” (СПб., 1998), который ставит целью отразить изменения в лексической системе русского языка, а также новейшие и продуктивные процессы и модели в языке последнего десятилетия. Значение слова *мультимедиа* здесь таково: “в информатике. Собр. Технология, объединяющая данные, звук, анимацию и графические изображения; использующие эту технологию программы и компьютерные средства передачи информации”. Первые случаи употребления – также начало 90-х годов XX века. Авторы Словаря сделали верный прогноз; уже во втором, расширенном и дополненном, издании “Толкового словаря современного русского языка. Языковые изменения конца XX в.” (М., 2001) гнездо данного слова представлено более разветвленным. Причины укоренения лежат как в лингвистической, так и нелингвистической плоскости: отсутствие эквивалента в русском языке; мощное давление профессионального языка информатики и компьютерной техники на современное общелитературное употребление; языковая компактность термина; понятийная и структурная четкость и ясность; отсутствие явной языковой “шероховатости” в русском языке (правда, тут есть некоторые трудности фонетико-графического и орфографического порядка, о чем речь пойдет далее).

Преимущественной сферой использования термина *мультимедиа* в русском языке остается информатика, компьютерная область в це-

лом, однако можно смело сказать, что слово, по-видимому, уже вышло за рамки профессионального языка и все чаще встречается в общем употреблении. Таким образом, динамика, адаптация термина в русском языке представляется такой: профессиональный язык (компьютерщики, программисты, “системщики”) → полужаргонная речь представителей профессий, связанных с компьютерной технологией (создатели, разработчики учебников нового поколения, включающих визуально-акустические технологии, преподаватели, бизнесмены) → общее употребление (пользователи Интернета, мобильных телефонов нового поколения). Сейчас слово находится во втором звене этой цепочки, однако стремится к выходу за ее пределы и быстрому передвижению в направлении третьего компонента цепи.

На первый взгляд кажется, что заимствованный компьютерный термин полностью дублирует свой английский прототип. Однако более внимательный анализ позволяет увидеть не только сходство, но и отличие “русской” *мультимедии* от “английской”, которое проявляется и в намного более разветвленном словообразовательном гнезде, и в орфографической неустойчивости, и в морфологическом колебании, и в синтаксической сочетаемости, и даже в семантике.

В русском языке встречаются фонетико-графические варианты термина, вызванные разными “прочтениями” компонентов. Например, варианты *мультимедиа*(а) и *мультимедия*(а) свидетельствуют либо об ориентации на английский графический облик (без мягкого знака в префиксе *мульти* < англ. multi-), либо на принятый и уже освоенный русский (*мульти*-). Первый вариант обычно распространен в среде специалистов компьютерных технологий, второй – в нормативном употреблении (узусе). Вариативен и второй компонент: *мультимедиа* отсылает к английскому источнику и включает слово в класс неизменяемых существительных, оканчивающихся на *-иа*. Следует заметить, что в составленных А.А. Зализняком “Грамматическом словаре русского языка” и “Обратном словаре русского языка” вообще не упоминается ни одного слова с такой финалькой; по-видимому, единственной группой слов будут иностранные собственные имена типа *Гулиа*, *Нодиа*, *Нокиа*. Форма *мультимедия* явственно показывает вхождение слова в парадигму склоняемых существительных на *-ия* (типа *студия*, *авария*). В современном языке, по нашим наблюдениям, еще не установилось единообразное написание и, следовательно, вопрос об изменяемости/неизменяемости слова остается пока открытым: первый вариант (неизменяемое существительное) указывается в орфографических справочниках и толковых словарях, второй вариант еще не признан нормативным, считается разговорным. Однако само наличие такого варианта существенно и значимо, поскольку перед нами – “давление” системы русского языка, стремящегося адаптировать данное существительное к своему флективному строю. “Побе-

дит” ли один вариант (англоязычный) или укоренятся оба – покажет время; пока же отметим, что тенденция к русификации термина очевидна.

Исходное слово *мультимедиа* (*мультимедия*) порождает словообразовательные дериваты: *мультимедийный*, *мультимедийность*, *мультимедийно*, *мультимедиаальный*, *мультимедиаальность* и даже аббревиатуру *ММ* (= *мультимедийность*). Образование новых слов, следовательно, происходит двояким образом: либо от усеченной фонетической основы *мультимеди*- (*мультимедийный*, *мультимедийность*), либо от целого слова *мультимедиа* с присоединением суффикса *-(а)льный* (*мультимедиаальный*, *мультимедиаальность*). Кажется, в языке закрепятся производные *мультимедийный*, *мультимедийность*, так как вторые производные явно единичны: *мультимедиаальные презентации*, *мультимедиаальность компьютеров*. Зато широта сочетаемости прилагательного *мультимедийный* просто поразительна: *м. технологии*, *м. обучающий курс*, *м. диск*, *м. проект*, *м. приложение*, *м. путеводитель*, *м. каталоги*, *м. печатная продукция*, *м. образование*, *м. комплексы*, *м. коммуникация* и под. Это относительное прилагательное выполняет свою основную функцию – назвать предметы, относящиеся к классу денотатов, связанных с *мультимедиа*.

Однако при дальнейшем словообразовательном шаге – образовании от данного относительного прилагательного абстрактного существительного с суффиксом *-ость* – происходит интересный семантический процесс, когда существительное приобретает дополнительные оттенки или обертоны, наслаивающиеся на основное значение, выраженное относительным прилагательным. Ср. вполне типичные значения, не выходящие за пределы грамматического значения “оснащенность системой мультимедиа”: *мультимедийность компьютера*, *мультимедийность телемедицинских терминалов*, *мультимедийность информации*, *мультимедийность Интернета*. Однако сам факт изобретения *мультимедиа* настолько сильно повлиял на характер представления и восприятия информации (бога современной цивилизации!), что стали переносить этот новый способ организации и структурирования данных на человеческий мозг в целом; именно этот семантический функциональный и ассоциативный перенос способствовал рождению в слове *мультимедийность* новых оттенков с расширительным (качественным) значением “объемный, многокомпонентный, многоплановый, многоструктурный”: *мультимедийность как образ жизни*; *мультимедийность литературы*.

Очевидно, возможность приобретения новых, “качественных” оттенков содержится уже в самом относительном прилагательном, и это хорошо демонстрирует краткая форма прилагательного *мультимедийно*, где эта “качественность” проступает: *наше мышление мультимедийно*; *весь мир устроен мультимедийно*. Возможно использование краткого прилагательного (или даже наречия!) *мультимедийно* и

в чисто грамматическом значении, без смысловых “довесков”: *общаться мультимедийно; мультимедийно представленная информация; мультимедийно насыщенные интернет-сайты*. Поскольку *мультимедиа* и *мультимедийность* оказываются понятиями, включающими широкий спектр визуального и звукового воздействия на человека, то появляются новые сложные прилагательные, конкретизирующие целевое использование разнообразных приемов этого нового вида информирования, обучения или развлечения: *мультимедийно-информационная сеть, мультимедийно-игровой домашний компьютер, мультимедийно-развлекательный проект, мультимедийно-электронная версия, мультимедийно-гипертекстовая версия, мультимедийно-анимационные технологии, мультимедийно-навигационные системы* и т.п.

Популярность термина *мультимедиа* и его производных так высока, что в специальной литературе уже начала использоваться даже аббревиатура *ММ* (мультимедийность): “Преимущества использования компьютера на уроках: интерактивность, *мультимедийность (ММ)*, большой объем и гипертекстовость материала, телекоммуникации, предъявление труднодоступного (дорогостоящего, уникального, вредного, макро, микро, виртуального) оборудования” (И. Васильева. От компьютерной грамотности к информационной культуре).

Таким образом, термин *мультимедиа* хорошо иллюстрирует основные тенденции и особенности заимствования технических понятий в современную эпоху: глобализация экономики и техники способствует проникновению англоязычных терминов в разные языки практически одновременно с их появлением в языке-источнике; “неудобство” термина в русской морфологии язык пытается устранить путем приспособления слова (преимущественно в устной речи) к флективному строю; вариативность нового термина отражает “борьбу” латинской и кириллической графических систем; чрезвычайно мощное и разветвленное русское словообразование (почти) непременно включает лексему в свои “сети”, заставляя работать на службе лексики, морфологии, синтаксиса.

Санкт-Петербург

Язык прессы

НЕЛОГИЧНЫЙ ЯЗЫК

© Н. В. МУРАВЬЕВА,
доктор филологических наук

Оценка текста с помощью логических критериев многим журналистам кажется сложной и излишней, особенно в новостной журналистике (небольшой заметке или интервью). Между тем, даже в таких текстах нередко скрываются ложные суждения или умозаключения, появляющиеся на почве недостаточного владения языком или неправильного его использования. Речевая небрежность может довести СМИ или отдельного журналиста до суда. К тому же оскорбительные, нетолерантные высказывания во многих случаях оказываются логически несостоятельными. Покажем это на примере одного газетного интервью (Михаил Задорнов: “У меня нечего отнять” // Независимое обозрение. 2002. № 43). Оговоримся сразу, что здесь высказывания не журналистки, взявшей интервью, а ее собеседника, хотя она принимает и транслирует эти рассуждения, не видя их логической несостоятельности. Рассмотрим, какие логические законы и правила нарушаются в этом тексте и как это проявляется на языковом уровне.

1) «Мне нравятся некоторые политики за интеллигентность, сдержанность, неучастие в борьбе компроматов. Но ведь известно правило: “хороших людей на свете больше, но плохие лучше объединены”. Вот и наши умные лидеры возглавляют такие партии, в которых нет элементарной организации. И потом. Даже за самым интеллигентным человеком все равно стоят какие-то бизнесмены, спонсоры».

Заключение о целом по его части: “самый интеллигентный человек” = любой интеллигентный человек, хотя признак “за ним стоят какие-то бизнесмены, спонсоры” входит только в понятие “некоторые интеллигентные люди”. Еще пример (это часть текста, в котором журналист рассказывает о командировке в Чечню, в поселок Шали, где несут боевую службу солдаты из Челябинской области): “Если наши земляки все, как один – крепкие ребята, с хорошими характеристиками, то из других местностей служат солдаты, имеющие за плечами судимость, без образования, с четвертой группой профессионально-психологического отбора. У нас таких парней направляют только в стройбат или в железнодорожные войска” (Златоустовский рабо-

чий. 2002. 18 марта. Челябинская обл.). Особенности использования языка в этой публикации – “сложные” синонимы в обозначении предмета речи, подмена конкретного наименования – общим.

2) “В чем заключается мечта современного банкира? Присосаться к бюджету”.

Называние рода вместо вида: “современный банкир” = все современные банкиры, хотя признак “присосаться к бюджету” входит только в понятие “некоторые современные банкиры”. Такие ошибки появляются тогда, когда журналист (или его собеседник) просто называет в тексте какой-то предмет. Ведущий программы “Зеркало” (2002. 8 нояб.) Николай Сванидзе в разговоре о том, насколько профессионально и корректно рассказывали журналисты о захвате заложников в театральном центре на Дубровке, задал министру печати Михаилу Лесину вопрос: “Например, можно ли назвать этих преступников – чеченцами?”. Министр не дал прямого ответа. Между тем ответить на вопрос Николая Сванидзе следовало так: преступников можно было назвать чеченцами только в том случае, если бы эти слова называли один и тот же предмет (а это не соответствует действительности, поскольку устанавливает ложные отношения тождества между понятиями, которые находятся в отношении перекрещивания: не всякий преступник – чеченец, как и не всякий чеченец – преступник) или обозначение “чеченцы” вытекало бы из авторской концепции, из авторских объяснений событий. Еще один пример: “Новая услуга, которую российское государство решило оказывать иностранным гражданам, имеет множество как плюсов, так и минусов. С одной стороны, легче контролировать приток друзей героина и марихуаны, не надо заботиться о трудоустройстве и месте проживания иммигрантов (за все это отвечает работодатель)” (Подробности. 2002. 19 нояб. Екатеринбург). Особенности использования языка в приведенных примерах – все те же: “ложные” синонимы в обозначении предмета речи, подмена конкретного наименования – общим, отсутствие уточняющего контекста. В данном случае невозможно различить обозначенный в тексте истинный, реально допустимый класс предметов, поэтому и не делается различия между “свойствами” группы в целом и отдельного ее представителя.

3) “Многие хорошие артисты становятся бизнесменами и продают душу Мефистофелю”.

Ошибка из-за неправильного допущения: если человек “становится бизнесменом”, он “продает душу Мефистофелю”. Особенности использования языка в этом предложении – необоснованное употребление однородных членов предложения, соединенных союзом *и*, который в этом случае имеет значение следствия. Еще примеры: «Укрываюсь у “наших”. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет: на всю деревню – ни одного трезвого мужика...» (МК. 2001. 13 окт.); «пенсионеры души не чаяли в участковом – азербайджанце: “Он хоть и не

русский, но очень хороший человек. Вежливый. Спокойный. И жена у него хорошая» (МК-Урал. 2002. 6–13 июня). Здесь необоснованное использование бессоюзного предложения с двоеточием или сложного предложения с уступительным значением.

4) «В народе говорят: “Москва обворовала Россию, поэтому она и красивая”. Да, она красивая, но должна быть во сто крат лучше. В каждой подворотне должны цветы стоять!»

Смешение тем, несколько разных смыслов в утверждении: “да, Москва обворовала Россию”, или “да, Москва обворовала Россию, поэтому она и красивая”, или еще один, третий, смысл “да, Москва красивая”. Это похоже на ошибку, которая в логике обозначается как “смешение нескольких вопросов в одном”, когда предлагают в одном вопросе сразу несколько, так что ответ “да” может относиться одновременно к нескольким смыслам (“Бьете ли вы теперь своего отца?” “Да” – по отношению, во-первых, к действию (бью), во-вторых, к объекту (своего отца), в-третьих, к обстоятельству (теперь)). Особенности использования языка – размытость актуального членения предложения (несколько смыслов претендуют на то, чтобы стать ремой высказывания), отсюда возможность необоснованного использования утвердительной частицы, при котором журналист относит ее к части умозаключения как отдельно существующему суждению (“Москва красивая”), хотя более сильным оказывается подтверждение всего умозаключения.

Смешение причины и следствия, когда движение событий друг за другом или параллельно друг другу трактуется в качестве причин и следствий: утверждение “Москва обворовала Россию, поэтому она и красивая” остается недоказанным. Здесь необоснованное использование сложноподчиненного предложения со значением следствия.

Такие ошибки “нелогичного языка” встречаются в текстах СМИ очень часто. С какими же языковыми средствами журналисту надо быть особенно внимательным и осторожным, чтобы не попасть в сети логических заблуждений? По каким языковым признакам высказывания мы можем распознать логическую манипуляцию?

1) “Ложные” синонимы в цепочке наименований предмета речи, подмена конкретного названия – общим, отсутствие уточняющего, сужающего контекста при обозначении предметов.

2) Слова-связки *и, да* и т.д. (при соединении однородных членов и отдельных предложений) (См.: Муравьева Н.В. Маленькие проказники. О “непонятном” тексте и служебных словах // Журналистика и культура русской речи. Вып. 3. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. С. 12–20).

3) Предложения, в которых подлежащее и сказуемое необоснованно приравниваются в смысловом отношении (подлежащее и сказуемое выражаются именем существительным, используется глагол-ска-

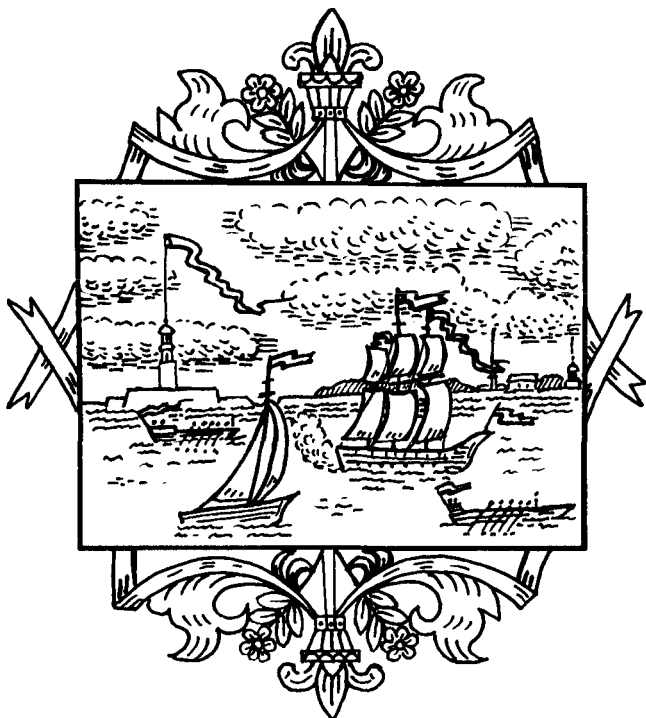
зуемое *состоит из, похож на* и т.д., при вопросно-ответном построении текста).

4) Размытость актуального членения предложения (несколько смыслов претендуют на то, чтобы стать темой высказывания) или ошибка в способе развертывания темы, “сбой” в актуальном членении высказываний.

5) Необоснованное использование бессоюзного предложения (в первую очередь с двоеточием и тире), а также сложноподчиненного предложения со значением причины, следствия и т.п.

Итак, основной механизм логической манипуляции или логического заблуждения в текстах СМИ связан с простыми логическими действиями: журналисты неточны в использовании понятий и в построении рассуждений.

Аристотель, например, рассматривая логические неправильности, делит их на два обширных класса – “неправильности в речи” и “неправильности в мышлении”. К первому классу Аристотель относит шесть разновидностей, но, по большому счету, все они сводятся к двусмысленности слов или синтаксических конструкций. “Неправильности в мышлении”, по мнению Аристотеля, независимы от речи. Между тем, мы полагаем, что так называемые логические ошибки проявляются в способе использования языка – независимо от того, является ли логическая неправильность уловкой или она лишь результат заблуждения.



“Ведомости” времени Петра Великого

© О. В. НИКИТИН

В 1703 году в январе вышел первый номер первой печатной газеты России “Ведомости”, основанной Петром I. С этого времени информационное поле страны приобрело цивилизованный (по тогдашним европейским понятиям) характер. Газета “Ведомости” следовала во многом русской традиции печатного слова, которая в рукописном виде существовала еще задолго до ее появления (это “Вести-Куранты”, выходившие с начала 1600-х годов). Газетой могли пользоваться все грамотные люди России. Это было периодическое издание, доставлявшееся в разные регионы страны, и оно могло оказывать влияние на общерусский культурно-языковой фон. Вот что писал о газете автор вступительной статьи к переизданию “Ведомостей” В. Погорелов в 1903 году, когда отмечался двухсотлетний юбилей выхода из печати первого номера: “Какое значение придавал Петр Великий Ведомостям – этому своему детищу, видно из того, известного уже факта, что

он сам *собственноручно* правил первый их номер. Хотя в настоящее время для нас выясняется, что в редактировании Ведомостей принимали участие и лица, служившие в Посольском приказе (впоследствии в Коллегии Иностранных Дел) и на Книжном Дворе (и далее в Московской и С.-Петербургской типографиях), но в то же время открывается для нас и то, что велось это издание вполне в духе и направлении Петра Великого по *постоянным* его указаниям. Таким образом, истинным редактором этой газеты за все время ее существования был сам Петр” (Ведомости времени Петра Великого. Вып. 1. 1703–1707 гг. В память двухсотлетия первой русской газеты. М., 1903. Курсив в цитатах наш. – *О.Н.*).

Внешний облик газеты имел свои особенности. Прежде всего это касалось буквенного оформления текста. С 1703 по 1709 год газета печаталась так называемым *библейным* шрифтом с сохранением всех атрибутов церковнославянской традиции: очертаний характерных литер, наличия надстрочных знаков и титл, символов греческого алфавита и др. Получалась довольно странная картина, когда, например, сообщалось о том, что нашли много нефти и медной руды или обсуждались военные события, словом, писалась *светская* история, – но все это было оформлено по-церковному. Такой древний “стандарт” сохранился вплоть до 1710 года, когда в “Ведомостях” появился привычный нам *гражданский* шрифт и газета приобрела европейский вид. Впрочем, отдельные элементы “древностей” все же оставались. Так, могли варьироваться *библейный* и *гражданский* шрифты в пределах одного и того же года, но все же второй преобладал. Изменилась и сама форма газетной статьи. Ранее она завершалась словами: “На Москве Лета Г[о]с[по]дня, 1708, генваря в 10 день”, где естественно я передавалось юсом малым, а в слове *Господня* было сокращение с выносом с под знак титла, и сама орнаментика букв была церковной. Позже писали уже по-другому, например: “Печатано в Москве 1712 году, Августа в 2 день” (здесь и далее примеры берутся из книги: Ведомости времени Петра Великого. М., 1903–1906. Вып. 1–2).

Уже в первые годы издания газеты чувствовалось определенное противостояние между *системами*: одна как бы наступала на пятки другой. Отсюда мы можем наблюдать причудливое переплетение словес: галлицизмы и в целом заимствования из европейских языков (здесь особенно много военных и производственных терминов) перекликались с фрагментами бытового просторечия и высокого славянского слога. Так, из военной лексики отметим слова *гоубицы*, *мартыры*, *рейтарское знамя* (Ведомости. 1703. № 1) и др. Одновременно можно встретить в том же тексте разговорные и книжные выражения, даже целые предложения, введенные в структуру “иноязычия”: “На реке соку нашли много нефти, и медной руды, из той руды медь выплавили изрядну, о(т) чего чают немалую быть прибыль москов-

скому гсдрству”; “В китайском гсдрстве езуитов велми не стали любить за их лукавство, а иные из них и смертию казнены” (Там же). Приведенные отрывки как раз показывают, что на фоне языковых изменений и наличия сильной иноязычной струи не происходило унификации текста, его упорядочивания согласно новым установкам.

Исследователи “Ведомостей” так характеризовали специфику газеты: “Лица, соприкосновенные с делом издания газеты, не могли не заметить, что картины Западной жизни не могли сделать первую нашу газету *русской по духу*. Они видели, что от первоначального плана русской газеты, начертанного великим Преобразователем, стали отступать” (Покровский А.К. История газеты в России // Ведомости времени Петра Великого. М., 1906. Вып. 2). В чем же выразилось это “отступление”? Об этом говорится в письме директора петербургской типографии М. Абрамова секретарю А. Макарову от 15 июля 1719 года: “Куранты печатаются и первые до вас, моего милостивого (государя) перед сим отправил по почте, при сем оные же повторительно прилагаю и раболепно прошу, изволь мне, мой государь, отписать: одни ль печатать чужестранные ведомости, которые из курантов и присылаются из посольской канцелярии, или сообщать со оными и о своих публичных делах и строениях, которых здесь довольно?”

Итак, в “Ведомостях” печатались не только переводы на наш язык иностранных источников, но и собственно русские сведения с рассказами о том, что происходит в культурной, научной и общественной жизни государства. Так, в том же январском номере 1703 года говорилось, что “повелением его величества московские школы умножаются, и 45 человек слушают философию, и уже диалектику окончили”, а также сообщалось, что “в математической штурманской школе больше 300 члвек учатся, и добре науку приемлют”. Здесь же приводится и любопытная заметка о подвиге некоего попа Ивана Окулова, ходившего за рубеж “в свейскую заграницу”: “Из олонца пишут. Города олонца, Поп иван окулов собрав охотников пеших с тысячу человек, ходил за рубеж в свейскую границу, и разбил свейские ругозенскую, и гиппонскую, и сумерскую, и керисурскую, заставы. А на тех заставах шведов побил многое число, и взял рейтарское знамя барабаны, и шпаг, фузей и лошалей довольно, а что взял запасов и пожитков он поп, и тем удовольствовал салдат своих, а досталные пожитки, и хлебные запасы коих немог забрать все пожег. И соловскую мызу сжег, и около соловской многие мызы, и деревни дворов с тысячу пожег же. А на вышеписанных заставах, по скаске языков которых взял конницы швецкой убито 50 члвек, пехоты 400 члвек; // ушло их конницы 50, пехоты 100 человек, а из попова войска толко ранено салдат два человека” (Ведомости... Вып. 1).

Одной из специфических особенностей “Ведомостей” было использование текстов разных стилистических и языковых систем. От-

части мы уже об этом сказали. Но наиболее яркое проявление такой феномен получил тогда, когда в ткань газетной полосы вводились церковные тексты. Причем заметим, что изначально “Ведомости” как орган гражданской печати и не предполагал *канонического* использования подобных текстов. Следовательно, они входили в газету и как своеобразный атрибут церковной традиции в “гражданском” виде, т.е. с теми характерными языковыми и стилистическими деталями, которые ранее были недопустимы в текстах такого высокого слога. Так, второй номер 1719 года открывался “реляцией” по случаю тезоименитства Петра Первого. Она начиналась следующими словами: “Молебство всенародное, всенощное пение, служба Божия, или безкровныя жертвы приношение: предика, или казание. Во всех сих трудился митрополит Рязанский Стефан, в церкви Святыя троицы; И при всех сих изволила быть Ея Величество, Всемилостивейшая наша Государыня Царица Екатерина Алексеевна, с сенатом и с прочими обоего полу особы, и с множеством народа” (Ведомости... Т. 2). Далее гражданский текст сопровождается изложением происходившего, но уже в иной манере: “Предика, или казание началось от сея фемы, Петре любииши ли мя, паси овцы моя, и гряди по мне. Иоанн 21, В предисловии о том была речь, яко любити Бога, и ближняго, не довлеет словом и языком, но нужда есть самым делом и истинною”.

Необычным в таком церковном окружении выглядит вкрапление *делового* языка: “Того ради увещает Иоанн Святыи Богослов: В послании I в главе 3: Чадца моя, не любите словом и языком, но делом и истинною”.

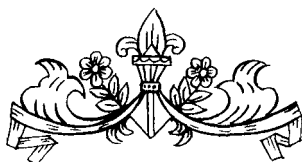
Здесь же выступает и другая черта церковного текста: сравнение (на уровне философии и теологии) эпизодов ветхозаветной истории с событиями поздних лет, а именно, с деяниями Петра Первого. Для такой речи требуются и особые приемы передачи текста и языка. Вот как говорится в одном из таких *сравнений*: “Христос ходил путем водным, овогда кораблем по мори Галилеиском, по озере Геннисаретском, овогда же и пешо по водам шествовал. Тоиже путь обоих верховников, которых десница Господня от потопления воднаго хранит и соблюдает. Путь водныи морскии прежде в России невиден бысть, разве слышан. Первыи Петр верховник Всероссийский сие преславное мируи показал дело. Он первыи Россиискаго флота начальник. Он вторыи Ное явился в своем Государстве, и прочая, и прочая”.

Наряду с очевидными семантическими и грамматическими славянизмами – *овогда, по озере, десница, невиден бысть*, в данном фрагменте присутствует и другая, “деловая” составляющая, которая проявилась в концовке: *и прочая, и прочая*. Так обычно позднее начинался царский указ (ср., например, у Екатерины II).

Любопытно сравнение Петра I с Христом-воином. Здесь мы также наблюдаем переплетение двух стихий: проповедническо-славян-

ской и мирской, деловой и бытовой: “Христос ходил путем воинским, темже и глаголаше: не мните рече яко приидох возврещи мир, не приидох возврещи мир, но меч”. А вот фрагмент о Петре I: “Наш Монарх Всероссийский, иначе сам в полках, сам полки устрояет, сам в сражениях, сам в баталиях. Сам и Царь, и Вождь, и Генерал. Сам и воин, и Салдат, свидетельствует сама шляпа на Полтавской баталии пулею прострелена, и диною своею аки устами отверстыми гласит его мужество, и прочая, и прочая”.

В отмеченных нами и многих других колоритных фрагментах газетной публицистики тех лет, как видим, ощущалось заметное влияние и светской деловой культуры. В. Погорелов так писал о подобной многоцветности словесного полотна газеты: “Язык Ведомостей своеобразен и значительно отличается от церковнославянского языка произведений старинной литературы вследствие внесения сильной струи народной речи. Это вызвано как новизной понятий в содержании, так и участием в работе новых лиц – не духовных, а светских – из Посольского приказа и Печатного Двора” (Погорелов В. Указ. соч.). Все эти свойства газеты весьма интересны для изучения и с научной точки зрения – не только для лингвистов, но и для специалистов в других областях – журналистов, военных историков, биографов. Каждый здесь найдет изобилие красок, которые вместе составили оригинальный и неподражаемый голос первой русской печатной газеты.





Писатель и переводчик И.С. Захаров

© Е. И. ДЕРЖАВИНА,
кандидат филологических наук

О коль тяжко сие бремя! едины упражняющиеся в толь многотрудном подвиге знают его неудобнобосимость. Всяк судящий о том легкомысленно, почитая перевод делом легким, пусть испытает собою, и конечно в том признается.

И.С. Захаров. Рассуждение о переводе книг

В XVIII веке переводы книг на русский язык были значительным явлением в интеллектуальной жизни общества и находились под покровительством Екатерины II, которая считала, что российскому читателю необходимо дать лучшие образцы сочинений мировой беллетристики и науки. В 1768 году было образовано Собрание переводчиков и Екатерина II выделила из личных денег пять тысяч рублей для вознаграждения авторов переводов. Собрание просуществовало до 1783 года и в нем участвовали свыше ста человек. Оно было непосредственным предшественником Российской академии, куда вошли многие члены расформированного собрания. Переводами занимались писатели, ученые и государственные деятели. Это занятие в целом немало способствовало вниманию к русскому слову. К числу писателей-переводчиков принадлежал и И.С. Захаров, хотя из-под его пера вышло несколько оригинальных сочинений, но они не относятся к числу художественной литературы: “Усадьба, или новый способ селить крестьян и собирать с них помещичий доход” (1802), “Хозяин винокур” (1808).

Иван Семенович Захаров происходил из небогатой дворянской семьи. Получив домашнее образование, он, по сведениям из книги М. Сухомлинова “История академии Российской”, позднее был учеником академической гимназии и по выбору Е.Р. Дашковой и И.И. Лепехина после окончания курса отправлен в Геттингенский университет для совершенствования знаний в химии. По возвращении на родину он читал лекции по химии на открытых Дашковой публичных курсах для просвещения всех женщин.

С 1766 года началась для Захарова карьера чиновника сначала в должности копииста при канцелярии И.П. Елагина (государственный деятель, писатель, член Российской академии, в 1766–79 гг. директор придворного театра), затем в Главной дворцовой канцелярии уже в чине коллежского секретаря. В 1794 году он был вице-губернатором Могилевского наместничества, в 1798 – астраханским губернатором. С 1801 года И.С. Захаров становится сенатором и находится в этом звании до конца жизни.

Общение Захарова с петербургскими масонами, в первую очередь с И.П. Елагиным, оказало влияние на начало его творческой деятельности. Не случайно его первые переводы, относящиеся к началу 80-х годов, принадлежат к кругу литературы, популярной в масонской среде: “Авелева смерть” С. Геснера, “Опыт о свойстве, о нравах и разуме женщин в разных веках” (1781) А.-Л. Тома и “Любимец фортуны” (1782) Д. Силли. Они были напечатаны в типографии Новикова.

Наиболее известным и одновременно зрелым переводом И.С. Захарова стал перевод “Странствований Телемака, сына Уллисова” Ф. Фенелона (1786 г. Уже существовали два перевода этого произведения, но они были признаны не столь удачными). Этот перевод был замечен публикой. Но сам И.С. Захаров не был им вполне доволен и в 1788 году осуществил второе его издание с дополнениями и исправлениями. Как человек, посвятивший себя всецело переводам, он выработал свой взгляд на труд и задачи переводчика, о чем ярче всего изложено им в статье “Рассуждение о переводе книг” (Новые ежемесячные сочинения. 1787. Ч. 17). Основным положением в ней является мысль о несправомности буквального перевода: важнее передать “мысли и слог” подлинника. “Совершенный перевод долженствует изобразить подлинник со всякою верностию: то есть прейать в себя точный смысл, а паче образ писания авторского, хотяб то был стихотворец или вития”. Он писал, что язык современного перевода “ненарушимую верность соединяет с гладкостью слога”, а переводчику советовал “быть обязану представить верно ту же ясность, ту же красоту, во всяком случае изображать только то, что соответствует предложению подлинника; отметить все, что ему противоречит, сочетать неупустительную точность с величайшею непринужденностию, остроту с разумом, краткость с ясностию, красоту с величием, нежность с крепостию; беспрестанно бороться с разностию свойств различных

языков; искать в своем потребных слов, дабы выразить чуждые нам мысли”.

Вскоре А.В. Храповицкий (личный секретарь Екатерины II) рекомендовал И.С. Захарова императрице для перевода романа Т.-Д. Смоллетта “Путешествие Гумфри Клинкера”, который он сделал очень быстро: в июне 1789 года перевод обоих томов романа был завершен.

Для переводов Захаров нередко избирал произведения нравоучительного содержания, что придавало тяжеловесность, напыщенность слога и назидательность содержания его переводам и, конечно, шло вразрез с легким и изящным слогом представителей московской школы, о которых И.С. Захаров отзывался как об учениках и не допускал в них дарования. “Из москвичей один И.И. Дмитриев здесь в почете, да и то разве потому, что он сенатор и кавалер” (Жихарев С.П. Записки современника. М.—Л., 1955).

И.С. Захаров в 1790-х годах обращается к переводам произведений, популярных у сентименталистов. Однако эти опыты были неудачны.

Преданность славянизмам привлекла к И.С. Захарову внимание А.С. Шишкова и сделала его одним из наиболее верных сторонников адмирала. В доме сенатора И.С. Захарова проводились собрания “Беседы любителей российской словесности” – общества, организованного А.С. Шишковым, “чтобы приохотить публику, а особливо дам, к русской словесности” (Хвостов Д.И. Записки о словесности: Журнал 1808 г. // Литературный архив. Л., 1938. Т. 1). В действительные члены “Беседы” принимались только люди “солидного” возраста, занимавшие притом видное положение в служебной иерархии; характер приема был бюрократическим. На собраниях обсуждались волновавшие литераторов проблемы, а также читались новые произведения маститых авторов. И.С. Захаров принял деятельное участие в сплочении сил архаистов. На собраниях “Бесед” он превозносил В.А. Озерова, А.П. Сумарокова, Я.Б. Княжнина, не понимая и не принимая творчества современных ему поэтов.

Отрицательное мнение И.С. Захарова о творчестве Н.М. Карамзина сказалось на том, что его долгое время не принимали в члены Российской Академии из-за “цветущего и, может быть, инде жеманного слога”. И.С. Захаров выше всех российских литераторов ставил только М.В. Ломоносова, по его мнению, показавшего “обилие, силу, красоту славенороссийского слова”, давшего наставление “о выборе и расположении слов” и научившего “почерпать слова в самом их источнике, сиречь в книгах церковных” (Словарь русских писателей XVIII в.).

Захаров не был принят молодыми острословами-карамзинистами, осмеивавшими тяжеловесность его стиля и преданность славянизмам. В протоколах “Арзамаса” его именовали Дед Седой, а “Беседы” – “Кладбищем славянофилов”. Кассандра (Д.Н. Блудов) представлял

его восседающим “на месте адского козла, пред ним сожигаются творения, драгоценные вкусу; а все беседные волшебники, держа горящие факелы из сочинений Карамзина и Дмитриева, пред ним творят коленопреклонения” (“Арзамас” и арзамасские протоколы. Л., 1933). На волшебниках “одежды ветхие, как и вкус Старого Деда” (Там же), арзамасцы придумали даже “Символ веры” “Беседы”, в котором необходимо было подтвердить свою веру в Шишкова и “язык славяноваряжский”.

По предложению Е.Р. Дашковой И.С. Захаров в 1786 году был избран в члены Российской академии, потому что “его знание и упражнение в российском слове в предложении его похощений Телемака доказано”. Как член Академии он принял участие в составлении “Словаря Академии Российской” (1789–1794). Некоторые слова из “Древней Вивлиофики”, термины из псовой охоты, а также из речи плотников и каменщиков были включены по его разработкам. Он составил определения слов на букву *З*, а также их производных и участвовал в обсуждении пяти частей словаря.

Служебные обязанности отвлекали И.С. Захарова от сочинительства, но не помешали ему в 1802 году написать и прочитать в собрании Российской академии свое “Похвальное слово Екатерине II”. Приведем некоторые выдержки из него: “Откуда возму слезы, да оплачу вас, о злочастные самовластия страдальцы!”, “Губительница рода человеческого, лютая война! о ты, разрушающая блаженное спокойствие царств, испровергающая грады, сожигающая веси, опустошающая труд мирных поселян”; “Воздоив россов млеком подданническая свобода, никогда цепями рабства над выями их не гремела; вселяя в души их честолюбие, служить себе и отечеству никого не принуждала...”. Реакция на это сочинение была двойкой. Так, А.С. Шишков почитал его верхом ораторского искусства, а карамзинистами оно было осмеяно, и И.С. Захаров окончательно заслужил репутацию бездарного стилиста, консерватора, галлофоба, так как было известно его высказывание: “Француз не может говорить божественным языком”. Для арзамасцев же И.С. Захаров оставался одной из колоритнейших фигур “шишковистов” и “халдеев”.



К 250-летию со дня рождения А.С. Шишкова

В марте нынешнего года исполняется 250 лет со дня рождения филолога, писателя, переводчика, военного и государственного деятеля Александра Семеновича Шишкова. До сего времени его деятельность вызывает неоднозначные отклики и бурные споры между его сторонниками и противниками. Одни вспоминают цензурный устав 1826 года, прозванный "чугунным", другие говорят о его содействии разрешению к печати "Евгения Онегина" А.С. Пушкина, а также о его стремлении облегчить участь осужденных декабристов, и они же говорят о том, что он не взимал со своих крепостных оброка. Споры вокруг его фигуры не затихают, и тем не менее А.С. Шишков является представителем определенного этапа в развитии русской филологии и культуры в целом и отрицать его значительную роль как организатора русской и славянской филологической науки первой трети XIX века вряд ли возможно.



А.С. Шишков о русском языке

Поистине язык наш есть некая чудная загадка, поныне еще темная и неразрешенная.

Есть ли иностранные языки в чем-нибудь и равняются с нашим, то весьма ограниченно и скудно.

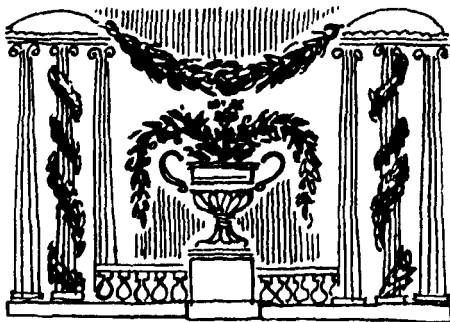
Высоких творений невозможно с такою же легкостью читать, с какою пробегаются простые стишки, повести, или рассказы, служащие

пищею одному любопытству, а не уму. Глубокомысленный писатель требует и в читателе глубокомыслия.

Что составляет красноречие, как не избранные, богатые смыслом слова, расположенные таким образом, что улаждают вместе и слух, и разум?

Мы видели, что язык наш изобилен, великолепен, краток, силен, составлен умом любознательным из слов и выражений богатых разумом.

Язык наш по природе громок и важен в великодушных, приятен и сладок в простых выражениях. Когда мы пределы языка и красноречия так стесним, что станем только то почитать хорошим, к чему разум и ухо наше от ежедневного употребления привыкли,.. тогда мы некоторых кратких выражений, некоторого особого словосочинения священных книг понимать не будем; следовательно, и красноречие их над нами не подействует.



“...Язык чужой не обратился ли в родной?”

**А.С. Пушкин о месте родного и иностранных языков
в речи женщин**

© Г. В. МАРКЕЛОВА,
кандидат филологических наук

В первой половине XIX века французский язык был обязательным и едва ли не основным компонентом женского воспитания. Умение говорить по-французски в то время являлось признаком аристократизма, принадлежности к высшему обществу. А.С. Пушкин в своих произведениях показал, что французский язык в речи женщины занимал совершенно особое место – гораздо более значимое, чем в речи мужчины. Именно женский французско-русский билингвизм неоднократно отмечался Пушкиным и подавался им как характернейшая черта женской речи.

Для “причудниц большого света” (молодого и среднего возраста) французский являлся основным языком, первым по коммуникативной значимости. В их речевом обиходе он, по существу, занимал место родного языка. Русским же светские дамы пользовались редко и говорили на нем с явными неправильностями:

Не все ли, русским языком
Владея слабо и с трудом,
Его так мило искажали,
И в их устах язык чужой
Не обратился ли в родной?

(“Евгений Онегин”)

При этом Пушкин не присоединял своего голоса к хору литераторов, которые упрекали женщин за пренебрежение родным языком. Он считал, что в речи русских женщин французский вытесняет род-

ной язык не столько по их собственной прихоти, сколько по объективным причинам. Свое объяснение этих причин Пушкин вложил в уста женщины-рассказчицы, от лица которой написан роман “Рославлев”: “Вот уже, слава Богу, лет тридцать, как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем и не умеем (будто бы) изъясняться на отечественном языке”. Дело в том, продолжает героиня, что “мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслим мы на языке иностранном (по крайней мере, все те, которые мыслят и следуют за мыслями человеческого рода)”. Пушкин считал, что по причине “чрезвычайной ограниченности” русской словесности, которая для женщин еще недостаточно привлекательна, они находят речевые образцы во французских романах, составляющих основу дамского чтения. Оттуда берут они самые “обороты слов” и для изъяснения на письме. Поэтому французский естественным образом утвердился в русском обществе как язык культурного общения, как язык светский и этикетный, в высокой степени обязательный для разговоров и переписки с дамами.

Есть еще одна причина, по которой женщины пушкинского времени были особенно привязаны к французскому языку. Как показал поэт, для женщин образцы речи и речевые привычки гораздо более значимы, чем для мужчин. Женщины более покоряются установившимся правилам и способам изъяснения, не стремятся или не смеют их изменять. Женщины более, чем мужчины, склонны пользоваться речевыми формами, которые “давно готовы и всем известны”, в том числе и привычным, предписанным для известных случаев французским языком. Показательны в этом отношении два любовных письма (женское и мужское) в “Евгении Онегине”. Как замечал Пушкин, “дамская любовь” не изъясняется по-русски. Во-первых, это затруднительно из-за дамской непривычки к русскому языку вообще, а также по причине невыработанности русского “метафизического языка” для передачи психологических движений души. Во-вторых, это противоречило принятым этикетно-речевым правилам светского общения. Кроме того, как показывал Пушкин, в начале XIX века женское поведение, в том числе речевое, являлось в большой степени подражательным, подчиненным влиянию литературных образцов, которые стали известны русским читательницам из европейских, и в первую очередь французских, романов. Их языковая форма долго сохраняла для русских женщин и свое обаяние, и свой авторитет. Естественно поэтому, и юная мечтательница Татьяна, которая “воображалась героиней своих возлюбленных творцов”, поступает так же: она пишет Онегину первая, и пишет ему по-французски. Онегин же свое любовное послание пишет по-русски, смело нарушая установленные этикетные нормы. При этом ни герой, ни автор никаких извинительно-объяснительных оговорок по поводу русского языка данного письма не делают.

Заметим, что и сам Пушкин в иных жизненных обстоятельствах мог пренебречь этикетно-языковыми предписаниями. Так, в минуту сильнейшего беспокойства и недовольства молчанием своей невесты он писал ей из Болдина не по-французски, как обычно, а по-русски: “Милостивая государыня Наталия Николаевна, я по-французски браниться не умею, так позвольте мне говорить вам по-русски, а вы, мой ангел, отвечайте мне хоть по-чухонски, да только отвечайте”. Таким образом, в своем речевом поведении, в частности в выборе языка общения, женщина пушкинского времени оказывается не только более инертной, но и менее свободной, чем мужчина.

Однако для большой группы дворянских женщин, изображенных Пушкиным, первым по значимости и употребительности являлся русский язык. Это провинциальные помещицы: мать Татьяна Лариной, обитательницы “соседственных селений”, мать Марьи Гавриловны в “Метели” и др., а также те, кого в своих письмах Пушкин называл “московские бабушки”. Французским они пользовались лишь эпизодически, его отдельными элементами; активное его использование для них в прошлом (как и для графини в “Пиковой даме”). К этой группе примыкают “уездные барышни”, для которых постоянное употребление французского нецелесообразно по условиям их жизни и ограниченности круга общения. Женщины этой группы по-французски, в основном, читали (особенно женская молодежь), но говорили они на страницах пушкинских книг по-русски.

Кроме французского, в образованном кругу пушкинского времени были в употреблении и другие европейские языки, а также классические языки древности – латинский и греческий. Но по распространенности они не могли сравниться с французским. Из пушкинских героинь только Лиза Муромская знает по-английски, и то лишь по прихоти англомана-отца. Немецким языком, вторым по распространенности в начале XIX века, не владела ни одна из русских женщин, изображенных Пушкиным. Характерное и потому предсказуемое незнание женщиной немецкого языка стало одним из обстоятельств, расчетливо использованных главным героем “Пиковой дамы”: первое письмо Германна к Лизавете Ивановне с признанием в любви “было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна, – замечает Пушкин, – по-немецки не умела и была им очень довольна”. Пушкин реалистически отразил тот факт, что среди его современниц не слишком многие знали более одного иностранного языка. Как выдающееся исключение из общего правила выделялась мать П.В. Нащокина, которая в его “Записках”, отредактированных Пушкиным, характеризуется как “женщина необыкновенного ума и способностей” именно потому, что “она знала многие языки, между прочим, греческий. Английскому выучилась она 60 лет”.

Что касается классических языков, то их знание для образованных людей пушкинского времени в целом нехарактерно, а для женщин

владение этими языками расценивалось даже как определенная странность. Так, в одном из писем жене Пушкин рассказывал: “Видел я свата нашего Толстого; дочь у него также почти сумасшедшая, живет в мечтательном мире, окруженная видениями, переводит с греческого Анакреона и лечится омеопатически”.

Знание другого классического языка – латыни – с начала XIX века также не входило в обычный круг светского дворянского образования, даже мужского. Оно выступало как свидетельство образования “серьезного” или клерикального (Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995), то есть женщинам в принципе не свойственного. Характерна в этом отношении сцена из наброска “Мы проводили вечер на даче...”, где главный герой так начинает свой рассказ о Клеопатре: “– Надобно знать, что в числе латинских историков есть некто Аврелий Виктор, о котором, вероятно, вы никогда не слыхивали. – Aurelius Victor? – прервал Вершнеф, который учился некогда у езуитов, – Аврелий Виктор, писатель IV столетия. Сочинения его приписываются Корнелию Непоту и даже Светонию; он написал книгу de Viris illustribus – о знаменитых мужах города Рима, знаю... – Точно так {...} в ней находится то сказание о Клеопатре, которое так меня поразило {...} *Naec tantae libidinis fuit ut saepe prostiterit; tantae pulchritudinis ut multi noctem illius morte emerint...*”

– Прекрасно! – воскликнул Вершнеф, – Это напоминает мне Салюстия – помните? *Tantae...*”.

Далее Пушкин рисует женскую реакцию на этот ученый разговор: “– Что же это, господа? – сказала хозяйка, – уж вы изволите разговаривать по-латыни! Как это для нас весело! Скажите, что значит ваша латинская фраза?”

Приведенная сцена с очевидностью обнаруживает, что латынь для дам пушкинского времени “непостижна” и требует перевода. Соответственно реальному положению вещей латинский язык, даже в виде вкраплений, не употребляется ни в устной, ни в письменной речи женских персонажей Пушкина.

Несколько более известным столичному дворянскому кругу был итальянский язык: в моде была итальянская музыка, опера. Однако по-итальянски почти не читали. В “Египетских ночах” Чарский говорит явившемуся к нему импровизатору: “...итальянский язык у нас не в употреблении, вас не поймут”. Тем не менее на вечере импровизатор получил пять записок на правильном итальянском языке, и среди них несколько строк, написанных рукой молодой женщины.

С нормативной стороны, с точки зрения правильности, Пушкин характеризовал практически только русскую речь женщин. Примечательно, что к галлицизмам и иным ошибкам образованных женщин в русском языке Пушкин относился снисходительно, без пуристической строгости и считал такие ошибки простительными для дам. Более то-

го, молодой Пушкин в неправильностях русской речи своих современниц даже находил своеобразное очарование:

Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
По-прежнему сердечный трепет
Произведут в груди моей...

И это не просто галантная уступка дамам, исходящая из традиционного понимания мужской речи как нормы, а женской – как закономерного отклонения от нее. Рядом с приведенными стоят знаменитые слова Пушкина в защиту грамматической ошибки как “улыбки” речи:

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю.

Таким образом, женщины пушкинского круга “улыбаются” в своей речи чаще, чем мужчины. Погрешности в русском языке воспринимались Пушкиным как неизбежная особенность женского разговора. Однако, по мнению поэта, эта “милая” черта не ученой, не книжной, естественной женской речи лишь усиливала прелесть общения с дамами, становясь источником дополнительного удовольствия для правильно говорящего порусски мужчины. По-видимому, и на письмо женщины делали в русском языке больше ошибок, чем мужчины. Пушкин упоминал об этой особенности женской орфографии, описывая в “Евгении Онегине” “уездной барышни альбом”: “Сюда, назло правописанью, Стихи без меры (...) внесены...”.

Пушкинские тексты вполне адекватно отражают общий невысокий уровень дамского владения русским языком. Однако на художественном изображении женской речи у Пушкина это никак не сказалось. Напротив, речь пушкинских женских персонажей не менее правильна, чем речь автора. Даже в характерологических целях ошибки женской речи Пушкин не воспроизводил. Пушкинские женщины прекрасно говорят и пишут по-русски: достаточно вспомнить объяснение Татьяны с Онегиным в восьмой главе или “Роман в письмах”. Разумеется, это следствие подчинения средств изображения художественной условности. Но это также и ненавязчивый урок русской речи, преподанный Пушкиным его современницам “без всякого педантизма”.

Таким образом, в текстах Пушкина верно запечатлена языковая ситуация его времени: функционирование в русском образованном обществе наряду с русским нескольких иностранных языков при господстве русско-французского билингвизма. В высших социальных слоях женского сообщества французский язык регулярно использовался в глав-

ных для женщин этого круга сферах жизни: светское общение, культура и любовь.

Другие иностранные языки занимали место на крайней периферии женской речи, придавая ей “ученые”, мужские черты. Русский язык для дворянских женщин был языком неэтикетного (домашнего, обиходно-бытового) общения. Вместе с тем, даже в ситуации сложного объяснения и интеллектуального рассуждения, в изображенной Пушкиным женской речи с французским успешно конкурировал русский язык – совершенный как в устной, так и в письменной форме. Тем самым в своих произведениях Пушкин открывал перспективы развития, ставшие реальными для женской речи не в последнюю очередь благодаря самому поэту, который создал в литературе новые, собственно русские образцы языкового выражения и сложных мыслей, и поэтических чувств, и “понятий самых обыкновенных”.

Тверь





В. Разыграев и орфографическая практика XIX века

© С. В. НАУМЕНКО,

кандидат филологических наук

История русской орфографии – это история движения к единому, упорядоченному и рациональному правописанию. Особенно острой потребность в унифицированном и единообразном письме оказывается в XIX веке, когда “каждая газета, каждый журнал, даже каждый автор считает себе вправе иметь собственное правописание” (Модестов В. Русское правописание // *Новости*. 1885. № 70); “Орфография, сия геральдика языка, изменяется по произволу всех и каждого” (Русские писатели-демократы о языке. М., 1974); “У нас столько же орфографий, сколько книг, журналов, сколько литераторов, и потому нет никаких орфографий” (Белинский В.Г. [Рец.]. Грамматические разыскания В.А. Васильева // Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: в 10 т. М., 1955. Т. 2). Эту разногласию русского письма XIX века нередко называли “рознью великой”, “брожением”, “шатанием”, “разладом”, “произволом ужаснейшим”, “пестротой” и “полнейшей неразберихой”, которая словно бы выполняла “смысл поговорки: что город, то норы, что край, то обычай, чтобы не сказать, что учитель, то правописание” (Су-в К. Неотребные буквы // *Время*. 1862. № 7; [Рец.] Библиография // *Филологические записки*. 1872; Каминский Ф. Письмо к Я.К. Гроту от 10.04.1885 // *Архив АН СССР*. Фонд 137. Описание 1. № 45; Новаковский В. Яркие факты насущной потребности // *Филологические записки*. 1873. Вып. 1; Гильтебрандт П. Необходимость “Уложения о русском правописании” // *Древняя и новая Россия*. 1879. № 2).

Неупорядоченность и хаотичность правописания существенно осложняли письменную и издательскую практику, школьное преподавание языка и требовали значительного количества самых разнообразных орфографических руководств, словарей, пособий, грамматик. Интересно, что немало орфографических словарей этого периода имели малый (или, как определяли сами авторы, карманный) формат, например: “Карманный орфографический словарь с обозначением переноса слов. Бо-

лее 40000 русских и иностранных слов, сомнительных в правописании и разделенных на слоги для правильного переноса их со строки на строку” А. Русакова (1889 г.); “Справочный карманный словарь для правописания по Гроту, Далю, Макарову и др.” В. Кимменталя (1900 г.). Вероятно, повседневная письменная практика требовала постоянного обращения к различным словарям, а такой формат позволял словарю быть, как говорят, всегда под рукой. В предисловиях к словарю авторы так и указывали свою основную задачу: “дать справочный орфографический словарь, удобный для ношения его в кармане” (Геннинг В.П. Справочная книжка и указатель русского правописания. СПб., 1879).

Однако обилие изданий нормативного характера нередко приводило к тому, что они сами, по выражению М. Малорошвилова, оказывались своего рода “рассадниками орфографической путаницы”, поскольку их рекомендации во многих случаях противоречили друг другу: “здесь держатся этимологии, исторических основ, там – произношения; в одном издании – одна система знаков, в другом – другая, в третьем – третья, а во множестве никакой” (Малорошвилов М. Обязательное правописание // Новости. 1885. № 312).

Отсутствие единой системы орфографических правил, несогласованность регламентаций побуждали многие издания принимать свои “индивидуальные” системы правописания. В XIX веке вышло около 50 (!) таких изданий, придерживавшихся особых орфографий (Обзор предложений по усовершенствованию русской орфографии (XVIII–XX вв.). М., 1965). В частности, создание В.И. Далем собственной “правописи” для “Толкового словаря живого великорусского языка” было вовсе не капризом автора, а вынужденной необходимостью, продиктованной состоянием орфографического вопроса этого периода: «Надо также сказать несколько слов о “правописи”, принятой в словаре. Это дело у нас задача трудная, покуда пишешь сплеча (вот и спотычка: иной пишет с плеча...), так сходит с рук на всякий лад, а как только приходится отдать отчет себе и людям в каждой букве, да постановить общие и частные правила, то, нисколько не желая быть ни новичком, ни отщепенцем, вынужден, однако ж, решиться в сомнительных случаях либо на то, либо на другое... и, может быть, иногда невольно впадаешь в крайности [курсив наш. – С.Н.]» (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1880).

Особый интерес для истории орфографии среди всего множества орфографических справочников XIX века представляют издания, которые, учитывая особенности их содержания, можно определить как *указатели орфографического разнобоя*, например, “Корректурный список 700 слов, наиболее требующих одинакового начертания” А. Студенского (1875 г.); “Справочный указатель спорных написаний в русской орфографии” В. Разыграева (1887 г.); “Справочный указатель спорных слов для руководства типографий при печатании изданий” (1898 г.).

Специфика словариков подобных изданий состояла в том, что они, в отличие от обычных орфографических словарей, отражали только нерегламентированные нормой написания, орфография которых в различных источниках оказывалась по этой причине непоследовательной, вариантной: *снугирь* (Толль Ф. Настольный словарь для справок по всем отраслям знаний (справочный энциклопедический лексикон), 1863 г.; Рейф Ф. Этимологический лексикон русского языка. 1835–1836 гг.; Шимкевич Ф. Корнеслов русского языка. 1842 г.; Даль В.И.; Грот Я.К.) и *снегирь* (Макаров Н.П. Полный русско-французский словарь. 1867 г.; Даль В.И.); *гостиница* (Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. 1881 г. (5-е изд.); Даль В.И.; Макаров Н.П.) и *гостиница* (Кирпичников А., Гиляров Ф. Этимология русского языка для низших классов гимназий (применительно к правописанию). 1883 г.); *шорохъ* (Рейф Ф.; Грот Я.К.; Шимкевич Ф. Корнеслов русского языка, 1842 г.) и *шерохъ* (Макаров Н.П., Даль В.И.).

Указатели орфографического разнобоя как нельзя лучше отражали сложившуюся в правописании ситуацию, при которой многие руководства “расходились... резко в начертании не только множества отдельных слов, но и даже целых гнезд слов одного ... типа”, а пишущие нередко были, “по большей части, различных взглядов, различных убеждений, диаметрально противоположных между собою” (Гильдебрандт П. Необходимость “Уложения о русском правописании” // Древняя и новая Россия. 1879. № 2; Скандовский Н. Законно ли не допускать учеников в университет за две или три грамматические ошибки? // Голос. 1872. № 162). Примечательно, что и первая работа Я.К. Грота, положившего “начало официальной орфографии в России”, называлась именно “Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доньне” (1873 г.) (Щенников Е.П. Значение трудов Я.К. Грота в истории правописания. Куйбышев, 1955). Необходимость указателей подобного рода составители объясняют прежде всего “разнообразием орфографии многих слов” из-за “разноречивого взгляда наших авторитетов на правописание”, в результате чего некоторые слова могли иметь четыре варианта написания: *ассессоръ* (Я.К. Грот) и *ассоръ* (В.И. Даль, В.П. Геннинг), *ассессоръ* (Академ. словарь) и *ассесоръ* (Ф. Толль). И именно для выявления подобных “индивидуальных” написаний издатель А. Студенский поместил даже специальную анкету, чтобы затем “неукоснительно руководствоваться принятою” автором орфографией при подготовке его рукописей к печати.

“Указатель спорных написаний в русской орфографии” В. Разыграева составлен на основе данных 23-х наиболее авторитетных источников с 1841 по 1886 год включительно, по которым “многие и часто наводят справки, как следует писать” (Разыграев В. справочный указатель спорных написаний в русской орфографии. СПб., 1887). Это, в частности, Академическая грамматика (3-е изд., 1854 г.), грамматики

А. Востокова (1856 г.), Ф. Буслаева (1881 г.), “Филологические разыскания” (1885 г., 3-е изд.) и “Русское правописание” Я.К. Грота (1885 г.), толковый словарь В.И. Даля (1880–1882 гг., 2-е изд.), выпуски “Филологических записок” и “Русского филологического вестника”, орфографический словарь В. Геннинга (1879 г.), “Этимологический лексикон” Ф. Рейфа (1835–1836 гг.) и “Корнеслов русского языка” Ф. Шимкевича (1842 г.), “Полный русско-французский словарь” Н.П. Макарова (1867 г.), “Филологические наблюдения над составом русского языка” Г.П. Павского (1841–1842 гг.). Задачу своего указателя В. Разыграев видит в том, чтобы “указать... все более или менее выдающиеся группы спорных написаний как у каждого авторитета в отдельности, так и у всех них вместе взятых” (Разыграев. Указ. соч.).

В указателе без всякого предпочтения и оценки приводится более тысячи слов и форм с колеблющимся написанием. Основная причина орфографического разнобоя, по мнению В. Разыграева, заключается в том, что правописание многих слов, “вполне согласуясь с авторитетом одного, в то же время противоречит, или вернее не удовлетворяет, взглядам другого”: *сумасшедший* (Я.К. Грот, Н. Макаров, В. Геннинг, Ф. Рейф) / *сумашедший* (Ф. Буслаев, В.И. Даль); *циферблатъ* (Н. Макаров, Ф. Рейф, Ф. Толль) / *цыферблатъ* (Я.К. Грот, В.И. Даль, А. Смирнов); *збруя* (Г. Павский, А. Орлов, Н. Макаров, Ф. Рейф) / *сбруя* (Я.К. Грот, В. Геннинг, В.И. Даль); *разсчетъ* (Н. Макаров, В.И. Даль, Ф. Рейф) / *расчетъ* (Я.К. Грот, В. Геннинг, Ф. Рейф, Н. Макаров); *лосось* (Я.К. Грот) / *лосось* (Я.К. Грот, В.И. Даль, Н. Макаров, Ф. Рейф, Ф. Толль, Ф. Шимкевич); *атрибутъ* (Я.К. Грот, В. Геннинг, В.И. Даль) / *аттрибутъ* (Н. Макаров, Ф. Толль).

Самой объемной среди спорных написаний оказалась группа орфографических вариантов *слитно/раздельно/через дефис*, составившая 26% всех зафиксированных указателем случаев колебаний в орфографической практике XIX века: *во первыхъ, во вторыхъ, в третьихъ* (Академ. грамматика, Ф. Буслаев, Г. Павский) / *вопервыхъ, вовторыхъ, втретьихъ* (Ф. Буслаев, Г. Павский) / *во-первыхъ, во-вторыхъ, в-третьихъ* (Я.К. Грот, А. Орлов, Академ. грамматика); *ниодинъ* (Ф. Буслаев, Г. Павский) / *ни одинъ* (Академ. грамматика, Ф. Буслаев, Я.К. Грот); *повидимому, попрежнему* (Я.К. Грот) / *по видимому, по прежнему* (Академ. грамматика, Г. Павский); *втридорога* (Я.К. Грот) / *въ-три-дорога* (Ф. Буслаев); *триста* (Я.К. Грот) / *триста* (Ф. Буслаев, Г. Павский) / *три-ста* (Ф. Буслаев); *гаунтвахта* (В. Геннинг, В.И. Даль, Н. Макаров, Ф. Рейф, Ф. Толль) / *гаунтъ-вахта* (Академ. грамматика).

Далее в указателе В. Разыграева следует группа *А/О* в безударной позиции: *баломутить* (Я.К. Грот, Ф. Рейф) / *баламутить* (В.И. Даль, Н. Макаров); *Е/ъ – железа* (В. Геннинг, Я.К. Грот, В.И. Даль, Ф. Рейф, Ф. Толль) / *желъза* (Академ. грамматика, Ф. Буслаев, Н. Макаров,

Ф. Рейф); *Е/О* после шипящих – *шеколадъ* (В.И. Даль, Ф. Рейф) / *шоколадъ* (Я.К. Грот, Ф. Рейф); *Е/И* в безударной позиции – *абониментъ* (Я.К. Грот, В.И. Даль, Ф. Толль, Ф. Рейф) / *абонементъ* (В. Геннинг, Н. Макаров); *Одиночная/удвоенная согласная* – *коридоръ* (В.И. Даль, Я.К. Грот, В. Геннинг) / *корридоръ* (Ф. Буслав, Ф. Рейф, Н. Макаров, Ф. Толль).

Особый интерес представляет группа написаний с *одиночной/удвоенной согласной*, как правило, в иноязычных словах. Вариантность написания одиночной или удвоенной согласной у заимствований отражает давний спор теории и практики отечественной орфографии: следует ли сохранять у иноязычного слова его первоначальную орфографию? Так, Я.К. Грот считал, что “мы обязаны сохранять правописание чужого слова лишь настолько, насколько это позволяют средства нашей азбуки” (Грот Я.К. Заметка о толковом словаре В.И. Даля. СПб., 1870). Частичное следование правописанию языка-источника способствует, по мнению Я.К. Грота, сохранению его исконного смысла, а удвоенные согласные выступают в качестве своеобразной этимологической приметы. Противоположной точки зрения придерживался В.И. Даль, полагавший, что для иноязычий “хранить чужое правописание несообразно”, и предложивший в качестве радикального средства унификации орфографии заимствованных слов вообще отказаться от удвоенных согласных.

Также в центре внимания предисловия к указателю В. Разыграева оказывается один из самых актуальных вопросов любой реформы правописания – возможный путь ввода упрощенной, реформированной орфографии в практику: школа или печать? Академия наук, как считал В. Разыграев, ни в коем случае не должна “покушаться вводить новую орфографию через школу, таким путем она не достигнет своих целей, желательно, чтобы академия проводила свое влияние прямо в печать, задача же школы – знакомить детей с той грамотностью, которая существует в данное время, научить читать те книги, которые печатаются в это время, писать так, как пишут в это время..., а не с будущей грамотностью, которая, вероятно, будет правильнее. Единственно возможный путь проведения нового правописания – “при посредстве литературы, книг и печати, а не через школу”, в противном случае возникнет целый ряд недоразумений, каково же будет, например, “положение ученика, когда он увидит, что его учат писать не так, как пишут все..., он придет к заключению, что учитель сам не умеет писать” (Разыграев В. Указ. соч.).

Эффективность введения новой системы правописания непосредственно через школу окажется практически равна нулю, если печать по-прежнему будет придерживаться старой: “Лишь только ученик оставит школу, он усвоит книжную орфографию, потому что впечатления от книжного письма будут постоянно повторяться, а школьные

правила – забываться. В чем же тогда польза от школьного правописания?” (Там же).

Противоположной точки зрения придерживался В.П. Геннинг, автор “Справочной книжки и указателя русского правописания” – одного из источников указателя спорных написаний В. Разыграева. Он полагал, что “достигать однообразия в правописании необходимо, действуя непосредственно на общество и школу”. Когда такое правописание постепенно войдет в привычку в школе и в публике, то принцип “так пишут”, единственный принцип, “имеющий обязательную силу в орфографии, может подчинять себе и редакции разных журналов, которые теперь так неохотно расстаются со своими орфографическими привычками и даже предрассудками” (Геннинг В.П. Справочная книжка и указатель русского правописания. СПб., 1879).

Кроме того, В. Разыграев размышлял об “излишестве в русской азбуке буквы *фиты*”, которое было признано еще пространной грамматикой В.Е. Адодурова (1738–1748 гг.), где был, как писал Б.А. Успенский, впервые провозглашен на русской почве фонетический принцип орфографии: “Так должны мы самое произношение почитать за наше главное правило и оному в письме сколько можно точно следовать” (Успенский Б.А. Первая русская грамматика на родном языке. Доломоновский период отечественной русистики. М., 1975). Утверждая права фонетического принципа, В.Е. Адодуров размышлял о дублетных буквах русской азбуки, которые, как, например, *Ъ* вообще “не изъясняет никакого человеческого голоса” или как *фита* и *ф*, “когда обе литеры... в произношении между собой не имеют у нас никакой разности” (Там же). Современники, кстати, нередко называли *фиту* “ханжой первого разряда”, “непотребной” и “мусорной” буквой (Су-в К. Непотребные буквы // Время. 1862. № 7; Мусорные // Неделя. 1895). Поскольку в русской речи не было ни малейшего различия между *ф* и *ѳ*, то ученикам приходилось заучивать списки слов с *ѳ* наизусть (приблизительно 60 слов). *Фита* доставляла немало хлопот ученикам: не случайно у В.И. Даля находим *От фиты подвело животы; Фита да ижица – дело к розге ближется*. Однако, как сетовал В. Разыграев, в третьем издании разысканий Я.К. Грота “византийская прабабушка” оказалась возвращена из своего десятилетнего “вполне заслуженного изгнания”. В. Разыграев решил в “спорном вопросе *ф* или *фита*?”, о котором уже “столько было писано и говорено, что на нашу долю осталось предложить на суд всех логически мыслящих людей: не разумнее ли было бы, ввиду и без того громадного числа слов и форм со спорными написаниями звук [ф] обозначать одною только буквою *ф*” (Разыграев. Указ. соч.).

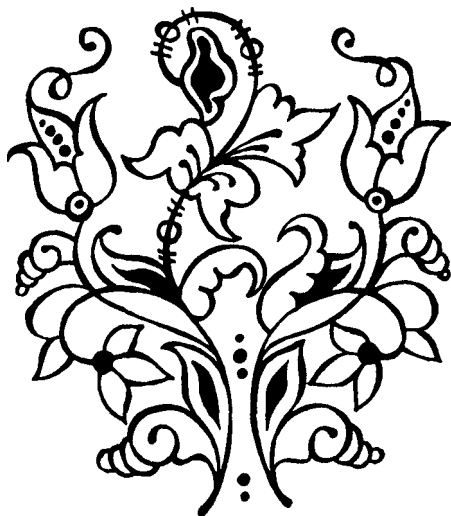
Признавал В. Разыграев и “бесполезность употребления *Ъ* на конце слов”. При этом, как он отмечал, очень многие давно уже “при частных переписках не употребляют его в своих письмах, заметках и ру-

кописях” (Там же). Кстати, редакция газеты “Новое время” с 90-х годов XIX века начала печатать свою рубрику “Отдел мелких известий” тоже без *ера*. С другой стороны, как отмечал И.А. Бодуэн де Куртенэ, “на многие головы отсутствие *Ъ* в конце слова действует раздражающим образом, точно красная тряпка на быка” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. / Под ред. И.А. Бодуэна де Куртенэ. СПб., 1903–1909). Письма без *Ъ* воспринимали как проявление “вольнодумства”, “революционный акт”, полагая, что “безъерье ведет к безверию” и посягает на устои государственной власти (Григорьева Т.М. Русская орфография: путь усовершенствований (XVIII–XX вв.). М., 1997; Щенников Е.П. Значение трудов Я.К. Грота в истории правописания. Куйбышев, 1955). “Ер служит, – с иронией писал по этому поводу К.Г. Житомирский, – для того, чтобы отличить людей благонамеренных от крамольников” (Житомирский К.Г. Молох XX (Правописание). М., 1915). В заключение приводятся заглавия изданий, в которых не употребляется *Ъ* в позиции конца слова.

Изучение указателей орфографического разнобоя позволит не только объективно определить пределы стабильного центра и вариантной периферии в правописании XIX века – периода наиболее горячих споров и размышлений о необходимости упрощения и унификации правописания, но и поможет проследить историю становления многих орфографических норм, а также степень авторитетности и влияния на орфографическую практику различных нормативных изданий.

*Канск,
Красноярский край*

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Российской Федерации. Грант РД 02-3.17-43. “Орфографическая ситуация на разных этапах истории русского языка XVIII–XX вв.”



“ЛАДУШКИ” И НАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ

© В. А. КОРШУНКОВ,
кандидат исторических наук

Корней Чуковский называл “Ладушки” бессмертными. В самом деле, эта общеизвестная народная детская песенка-потешка зафиксирована чуть ли не двести лет назад, и уже тогда она звучала в своем те-перешнем виде. Так что текст ее давно устоялся – в современном бы-товании у русских варианты “Ладушек” почти не встречаются (у белорусов и украинцев фольклорные варианты несколько разнооб-разнее).

Потешками принято называть песенки, напевая которые старшие играют с маленькими детьми. Обычно педагоги и фольклористы о потеш-ках вообще и о “Ладушках” в частности судят так: мол, это простень-кие и коротенькие игровые песенки, бесхитростные и приспособлен-ные для самых маленьких, в них и речь-то идет о кашке, кормлении, птичках... Охотно признается влияние этих простых слов и действий на малыша – но и только.

Правда, если вслушаться в напеваемые слова и если вдуматься в действия, проделываемые при исполнении “Ладушек”, то ситуация с этой песенкой выглядит довольно загадочно. Почему наряду с дет-ской, казалось бы, пищей – *кашкой* – тут же, следом упоминается сов-

сем не предназначенная для младенцев *бражка*? Кто там полетел и на головушку сел – это когда в завершении малышу поднимают ручки на голову? Да и само это словцо “ладушки” кого обозначает?..

Обычно полагают, что слово “ладушки” образовалось от словарного корня *ладонь*. Иногда в этой связи упоминается довольно редкий глагол *ладошить* – бить в ладоши (Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. М., 1957. С. 206). Однако слово *ладонь* в русском языке появилось лишь к XVIII веку. Оно образовалось от древнерусского *долонь* путем перестановки слогов и закрепления “акающего” варианта: *долонь* – *лодонь* – *ладонь*. В других славянских языках оно звучит иначе. Например, по-белорусски – *далонь*, по-украински – *долоня* и т.д. Между тем, эта потешка распространена не только среди русских, она широко известна и среди украинцев и белорусов. Вряд ли все эти украинские и белорусские тексты заимствованы от русских – некоторые из них вполне самостоятельны и оригинальны. Но в них присутствует все то же слово *ладушки*. Так что это собственно русское слово никак не может быть образовано от корня *ладонь*.

Другое объяснение допускает, что слово *ладушки* может быть формой множественного числа от существительного *ладушка*, которое является народно-поэтическим ласкательным к *лада* (Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 2.). От корня *лад* в славянских языках образовано немало слов, относящихся к свадьбе и супружеству. В том числе и существительное *лада*, которое встречается в народных песнях и в памятниках древнерусской литературы. Оно чаще всего обозначает девушку, невесту или молодую супругу. Иногда – парня, жениха, молодого мужа (это, видимо, оттого, что подобные песни чаще пелись женщинами, которые обращали эти ласковые любовные слова к мужчинам). Достаточно редко и, вероятно, лишь под влиянием этой самой песенки-потешки слова *лада*, *ладушка* употреблялись по отношению к детям. Так что едва ли в первой строке потешки звучит форма множественного числа от существительного *ладушка* в значении “ребенок”. Между тем, так считал, к примеру, Л.В. Успенский, согласно которому первую строчку потешки нужно понимать вот как: “Милые мои детушки, где вы были?” (Успенский Л. Слово о словах: (Очерки о языке). Изд. 2-е. Л., 1956. С. 60).

В Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова сказано, что слово “ладушки” известно только по одной этой детской песенке. На самом деле это не так. Этим словом (вариантом широко распространенного *лады*, *ладины*) могли называть один из предвечерних свадебных этапов, как это было, скажем, в некоторых местностях Рязанщины (См., например: Самоделова Е.А. Жанр приговорки (предсказки) и проблема игры на свадьбе (на материалах Рязанской области) // Традиционные формы досуга: История и современность:

Сб. науч. трудов. Вып. 7. М., 1996. С. 141). Это слово во множественном числе могло обозначать олады (созвучие “ладушки – оладушки” нередко обыгрывается и в тексте потешки). Но главное: оно встречается, к примеру, в одной старинной весенней хороводной песне, которую пели девушки, приглашая парней в хоровод.

Песня примечательна архаичными любовно-брачными мотивами: девицы и молодцы уподобляются в ней белым лебедушкам и ясным соколам, которые собираются вместе на току и разбиваются по парам, загадывая о свивании гнезд. Припев этой песни таков: “Диди, ладиди, диди, ладушки!” (Терещенко А.В. Быт русского народа. Ч. IV и V. М., 1999. С. 97). А вот и другой пример. На Южном Урале при проводах Масленицы везли на санях молодую женщину, изображающую саму “гостью Масленку”, а два сопровождавших ее хора пели, переключаясь друг с другом. В песнях обоих хоров и в песенных ответах “Масленки” звучал припев: “Ой ладушки, ладу!” (Народное творчество Южного Урала. Вып. 1. Челябинск, 1948. С. 74–75). Интересно, что слово *ладушки* как часть припева встречается у хорошо знавшего народные песни А.К. Толстого – в его стихотворном произведении “Змей Тугарин: Былина” (1867 г.). По всему тексту проходит рефрен: “Ой ладо, ой ладушки-ладо”.

Уже из приведенных примеров ясно, что слово *ладушки* составляет часть известного песенного напева – “дидо-ладо”, “ладо”, “лада” и т.д. Оно образовалось от одного из вариантов этого напева (*ладу*) путем присоединения форманта *-шки* по образцу: *баю-баюшки*, *гулю-гулюшки*, *аю-аюшки*. Либо же непосредственно от корня *лад* при помощи распространенного суффикса *-ушк/-юшк-*. Получается, что в первой строчке детской потешки запечатлен застывший, окаменевший древний народный припев. Лишь позднее он мог быть переосмыслен как существительное во множественном числе, обращенное к малым детям (“...Где были? – У бабушки!”).

Важно заметить, что такого рода традиционные припевы в старину были связаны со вполне определенными обрядовыми и лирическими песнями. В начале нашего века В.Н. Добровольский записал, “1) что некоторые из припевок народ называет божками; 2) что время употребления их строго и нерушимо освящалось преданием; 3) что зависело от обработки полей” (Добровольский В.Н. Песни Дмитровского уезда Орловской губернии // Живая старина. 1905. Вып. 3–4. С. 291).

Если же ограничиться только припевом *ладо* (с вариантами *дидо-ладо*, *лада*, *ладо* и т.п.), то нетрудно заметить, что он звучал в свадебных песнях, в весенне-летних обрядовых песнопениях, в некоторых подблюдных песнях (когда девушки на Святки гадали о своей судьбе и о грядущем замужестве), а также в тех лирических песнях, которые исполнялись на весенних гуляньях молодежи. Этот перечень определенно показывает, что припевы типа “ладо”, согласно давним народ-

ным представлениям, имели отношение к любви и обрядам, направленным на повышение плодородия полей. Известно, что в обрядовых напевах нередко звучало имя призываемого божества. Поэтому можно предположить, что этот обрядовый припев восходит к имени (вернее было бы сказать, к одному из наименований) славянского языческого божества весны, любви и плодородия.

Вопрос о существовании у славян такого божества (либо даже пары божеств – богини Лады и бога Ладо или Ладона) – давний и дискуссионный. Большинство современных ученых полагает, что это божество было измышлено польским писателем XV века Я. Длугошем, который сам вывел имя никогда не существовавшего у славян божества только из ничего не значащих песенных припевов. Те же, кто доказывают, что славяне и в самом деле поклонялись такому божеству, подчас делают это не слишком убедительно. Отмечу только, что, на мой взгляд, писавшие по-латыни средневековые авторы воспринимали звучавшее на крестинах, свадьбах и в хороводах славянское слово *ладо* в соответствии с законами латинского языка, во-первых, как имя мужского рода, и, во-вторых, как существительное третьего латинского склонения с полной основой, оканчивающейся на *n* – *Lado, Ladonis* (“Ладон”). Так что мужская ипостась богини Лады – и впрямь результат недоразумения. В то время, как слово *ладо* было, надо думать, формой звательного падежа от имени женского рода – “Лада”. И вообще, существование у славян богини любви и плодородия Лады подтверждается, по-моему, не только лексическими и фольклорными данными, но и явно невыдуманнными характерными чертами, которые приписывались этому божеству средневековыми писателями. Подтверждается оно также индоевропейскими мифологическими параллелями. Очевидно, образ Лады очень близок к иным женским персонажам восточнославянского язычества и народно-бытового православия: олицетворениям лихорадки и Масленицы, Параскеве-Пятнице, св. Евдокии и др.

Итак, первая строчка потешки, по-видимому, указывает на обрядовую весенне-летнюю ситуацию. В этой связи в высшей степени примечательно, что обычным завершением “Ладушек” является такой не вполне понятный по смыслу потешки текст: “Шу-у, полетели, на головушку сели!”. В Сибири в начале XX века подобные слова были отмечены в качестве приговора на обрядовом праздновании встречи прилетающих по весне птиц (Макаренко А.А. Сибирский народный календарь. Новосибирск, 1993. С. 50). Чуть позже в другом месте Сибири Г.С. Виноградов записал сходное выражение о прилетающих на “Сороки святы” жаворонках – “на уши сели”: «В это время “дорога черне(е)т”, кормов нестает, скотина тошша(е)т и престаёт, – оттово што жаворонки прилетели, “на уши сели”. Штобы кони и весь скот не преставали, штобы как говоритца, жаворонки на уши не сели, в этот

день пекут из муки, кака(я) придетца, жаворонков, сколь народу в семье и на кажну скотину» (Виноградов Г.С. Материалы для народного календаря русского старожилого населения Сибири: Восточная Сибирь, Тулуновская волость, Нижнеудинский уезд, Иркутская губерния // Зап. Тулуновского отд. Об-ва изучения Сибири и улучшения ее быта. Вып. 1. Иркутск, 1918. С. 10).

Встреча весны у многих индоевропейских народов отмечалась особыми обрядами и именно тогда, когда прилетали птицы. Позднее на Руси встречу весны и птиц справляли обычно в один из трех дней: 1, 9 или 25 марта (но старому стилю). К этому празднику пекли обрядовое печенье – как правило, в виде птиц. Ему давали птичьи названия: *жаворонки*, *кулики*, *тетёрки*, *грачики* и т.д. Этнографы указывали, что в XIX веке и в начале XX века дети, а также иногда и девушки играли с печеными “птичками” – подбрасывали их, порой поднимали себе на голову. А после рассаживали их на весенних проталинах, на гумне на соломе, на палках, кольях забора, верхушках стогов и закликали их, распевая коротенькие протяжные песенки-заклички.

Любопытно, что такая концовка встречается не только в “Ладушках”, а еще и в некоторых других детских песенках-потешках – например, в “Сороке”. Причем удалось найти и такие, теперь уже редкостные, варианты окончания потешек: “Шу, полетели, на заборе сели!” и “Шу, полетели, на шесток сели!”. В современных детских потешках эти слова совершенно необъяснимы. Ясно, что все три варианта концовки отражают реалии обряда встречи птиц, во время которого печеных “куликов” и “жаворонков” дети и девушки поднимали на голову, а после рассаживали на заборе и на шестах (хотя упоминаемый в потешке “шесток” может иметь отношение также и к шестку как части русской печи – особенно в случае с потешкой “Сорока”). Когда же обрядовый приговор стал частью детской песенки-потешки, то упоминание о заборе и шестке получилось вовсе непонятным, и эти варианты в потешках не прижились. А голова и тут была в буквальном смысле слова под рукой: как известно, при завершении потешки, приговаривая: “Шу, полетели, на головушку сели!” – ручки малыша поднимают и кладут ему на голову (См.: Коршунков В.А. “На головушку сели!” // Русская речь. 1991. № 1. С. 142–146).

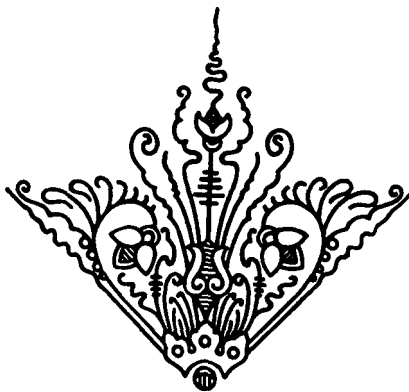
Вот и еда-питье, которыми угощает бабушка – судя по всему, тоже обрядовые. В исчезающих уже, но все же зафиксированных вариантах упоминается хлестание лозой или веником (при этом бабушка остается “добренькой”) – а это явно хлестание обрядовое, ради магически понимаемого обретения здоровья. Такое ритуальное действие хорошо известно при весенних обрядах (Коршунков В.А. Обрядовое хлестание в детской потешке // Мир детства и традиционная культура. М., 1994. С. 102–122).

Кажется, в тексте “Ладушек” нашли отражение и некоторые родильные обряды, которые также могли быть приурочены к древнему началу годового круга – то есть к наступлению весны. Действительно, судя по всему, “бабушка”, упоминаемая в потешке, – это бабка-повитуха, а каша, которой она угощает детей, – это ритуальная каша, употреблявшаяся при рождении и крещении ребенка и еще при годовых праздниках повитух, рожениц и маленьких детей. Кстати, птица сорока в народной традиции явно ассоциировалась с повивальной бабкой. В потешке “Сорока” эта птица наделяет “гостей” – малых детей – кашей. К тому же в некоторых вариантах потешки “Сорока” речь идет о ритуальной бане, в которой повитуха парила роженицу с младенцем (Коршунков В.А. Фольклорно-этнографический комментарий к восточнославянским потешкам про сороку // Традиционная культура и мир детства: Материалы международной научной конференции “XI Виноградовские чтения”. Ч. 2. Ульяновск, 1998. С. 26–42).

Вот какова эта простенькая, на первый взгляд, потешка “Ладушки”. Древний обрядовый праздник встречи приносящих весну перелетных птиц некогда был серьезным и преимущественно женско-девичьим. В этом праздновании, открывавшем теплый сезон года, особенно значимыми бывали мотивы плодородия. Поэтому актуализировалась и детская тема. Так и получилось, что на основе фольклорных текстов, исполнявшихся на этом празднике, сложились некоторые песенки-потешки – и среди них “Ладушки”. Конечно, песенка, сформировавшаяся на такой основе, приобрела особенности, характерные именно для песенки-забавы. И все же, придя из далекого прошлого, она живет и поныне, донося до нас старинные обрядовые смыслы и образы.

Киров

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования Российской Федерации, шифр гранта ГОО – 1.6–471.



Логистика
в “Арифметике” Л.Ф. Магницкого

© Р. А. СИМОНОВ,
доктор исторических наук

В “Словаре русского языка XVIII века” (СПб., 2000. Вып. 11) указывается, что впервые термин *логистика* появился в “Арифметике” Магницкого (М., 1703) в следующем контексте: “Арифметика логистика, не по гражданству токмо, но и к движению н(е)б(е)сных кругов принадлежащая”. При этом в Словаре дано следующее определение: “Арифметика л[огистика]. *Раздел в математике, изучающий четыре арифметических действия*”.

С трактовкой *логистики* Магницким указанное толкование не совпадает.

Воспроизведенная цитата из Магницкого является названием второй книги “Арифметики” (обе они объединялись в одном томе). Перевод заголовка может быть таким: “Арифметика-логистика, принадлежащая не только обычным (вычислениям), но и к движению небесных кругов”. Из названия явно не следует, каким был предмет арифметики-логистики по Магницкому. Из него лишь можно заключить, в каких областях деятельности она использовалась, а именно: в обычной жизни и астрономии.

Такое понимание примерно соответствует тому, как трактовалась логистика в античное время и средние века: “Логистика (греч. *logistica* – искусство вычислять, рассуждать) – в античном мире и в эпоху средневековья так назывались практические операции вычислений и измерений в арифметике” (Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник.

2-е изд. М., 1975). Следует учесть, что “в предмет логистики входило также извлечение квадратных и кубических корней из чисел, а также астрономические вычисления” (Еганян А.М. Греческая логистика. Ереван, 1972).

Что же реально было содержанием арифметики-логистики в книге Магницкого? Она поделена на три части. В первой речь шла о квадратных уравнениях. Вторая часть была посвящена геометрии и тригонометрии: задачам на измерение площадей, теоремам на тригонометрические функции различных углов. Третья часть относилась к математическим основам навигации. Здесь рассматривалось приложение к мореплаванию изложенных ранее сведений по арифметике, алгебре, геометрии и тригонометрии. При помощи прилагаемых таблиц можно было решать навигационные задачи, например, определить географическую широту места, используя отклонение магнитной стрелки компаса, а также рассчитать время приливов и отливов и пр.

Содержание второй книги “Арифметики” Магницкого показывает, что употребляемый в ее названии термин *логистика* соответствует тому, как он по существу понимался в античности и средние века. Однако в трактовке Магницкого есть некое терминологическое своеобразие. В его названии назначение арифметики-логистики определяется словами: “к движению небесных кругов”, которые можно истолковывать в применении к навигации в том смысле, что:

- Магницкий заимствовал заголовок с *небесными кругами* из какого-то источника, где не было речи о кораблевождении;
- Магницкий относил вопросы навигации к *движению небесных кругов*, вкладывая в это какой-то свой смысл, отличный от античного.

Чтобы разобраться в этом, необходимо учесть, что означали *небесные круги* в русском научном языке начала XVIII века. На этот счет у Л.Л. Кутиной находим следующее: “Путь, по которому совершается движение планет, в книгах первой трети века [XVIII в. – Р.С.] называется **кругом** <...> Русский термин *круг* при переводах подставлялся и вместо термина *orbita* (круговой путь, круговая линия), <...> В языке естественнонаучных книг встречаем мы и употребление сл[ова] **круг** в знач[ении] шар, сфера, прежде всего в старинных терминах географии и астрономии, употребляемых и в первой трети XVIII в.: *земной круг* (земной шар, земля), *земноводный круг*, *небесные круги* (небесные сферы)” (Кутина Л.Л. Формирование языка русской науки. М.–Л., 1964).

Следовательно, *небесный круг* в языке русской науки начала XVIII века имел два смысла: “орбиты – кругового пути”: “небесной сферы”.

Астрономический термин *орбита* до сих пор употребляется в научном русском языке для обозначения траектории движения небесных объектов, будучи воспринятым из научной латыни или западно-

европейских языков. “Небесная сфера” – понятие, сформировавшееся в трудах Аристотеля и других мыслителей античности. Оно восходит к древним представлениям о звездном мире как о движущихся небесных сферах с закрепленными на них небесными телами: “С древнейших времен считалось, что звезды прикреплены к небесным сферам. Согласно Аристотелю, сферические орбиты, к которым прикреплены небесные тела, движутся с разными скоростями” (Григорьев А.В. Примечания к “Христианской топографии” Козьмы Индикоплова (космологические и онтологические фрагменты) // *Философские и богословские идеи в памятниках древнерусской мысли*. М., 2000).

Одно из важных различий между *небесным кругом* как орбитой и *небесной сферой* состоит в следующем: орбита, по которой движутся планеты и другие небесные объекты, является кривой, рассчитанной по законам небесной механики. В представлении же античных ученых *небесная сфера* – подвижная твердь, к которой прикреплены планеты и другие небесные тела. Заголовок Магницкого ближе ко второму смыслу, так как в названии утверждается о собственном движении *небесных кругов* (“Арифметика-логистика ...”). О движении самих небесных объектов в нем нет речи.

По-видимому, Магницкому заголовок был подсказан каким-то средневековым источником, отражающим античную трактовку мироздания. Содержание второй книги “Арифметики”, имевшей обсуждаемое название, ничего общего с космическими представлениями античности не имеет. Оно сводится в итоге к современным Магницкому аспектам практической астрономии, применявшейся в кораблевождении. Поэтому смысл, который он вкладывал в слова “движение небесных кругов”, следует считать условным, в действительности, предполагающим прикладную астрономию начала XVIII века, далеко ушедшую от образов античности.

Античное происхождение заголовка в книге Магницкого подтверждается неявно представленным в нем (заголовке) качеством арифметики-логистики как своего рода вычислительного искусства. Такой подход к *логистике* характерен для эллинистического и средневекового периодов. Так, известный историк математики И.Н. Веселовский, по существу, сводил древнегреческую математику к “логистике – искусству вычислений” (Веселовский И.Н. Перевод, вступит. статья и комментарии к книге Архимеда “Сочинения”. М., 1962).

Другой выдающийся историк математики датчанин Г. Цейтен, характеризуя *логистику* как “вычислительное искусство”, отмечал, что древнегреческие математики, имея возвышенное представление о своей науке, изымали из ее предмета вычислительные приемы и “передавали” их *логистике*: “Настоящие числовые выкладки, которые, как правило, могли давать лишь приближенные результаты, исключались ими из своих трудов и передавались в ведение менее почитае-

мой науки – логистики” (Цейтен Г.Г. История математики в древности и средние века. М.–Л., 1932).

Изложенная трактовка *логистики* является распространенной в науке: «В античной математике этим термином обозначали совокупность вычислительных и измерительных операций в отличие от более фундаментальной “теоретич[еской] математики”» (Словарь античности/ Пер. с нем. М., 1989). Еще пример подобной оценки: «В античной математике под Л[огистикой] понимали совокупность известных в то время вычислит[ельных] (в арифметике) и измерит[ельных] (в геометрии) *алгоритмов* – в отличие от развиваемой путем содержат[ельных] рассуждений “теоретич[еской] математики”» (Философский энциклопедический словарь. М., 1983).

Судьба термина *логистика* претерпела интересные метаморфозы после античности и средневековья. В Новое время “этим термином немецкий философ Лейбниц (1646–1716) обозначил исчисление умозаключений”. С начала XX века в западноевропейской науке под *логистикой* стали понимать математическую логику, однако “в советской логической литературе этот термин в данном смысле употребляется очень редко” (Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник).

В постсоветское время в России термин *логистика* получил известность в промышленном производстве, торговле и другой, преимущественно прикладной, деятельности в качестве обозначения науки об управлении непрерывным потоком действий: “Логистика рассматривает поток изменений и стремится к его регулированию на всем его протяжении – от закупки ресурсов бизнес-деятельности до потребления производной продукции ее покупателями <...> Логистика изучает не ресурсы (материальные, финансовые, информационные), а их движение в пространстве и во времени” (Есенский Б.С., Крылова М.Д. Логистика в книжном деле. М., 2002).

Возвращаясь к Магницкому, можно заключить, что его понимание *логистики* в принципе соответствует ее античной трактовке: “искусству вычислений”. Однако Магницкий при этом внес существенное уточнение, состоящее в том, что его арифметика-логистика нацелена не столько на практику вычислений вообще, сколько на искусство вычислений в области навигации. Недаром, обобщая исследования историков астрономии и навигации, современный автор заключил: «Обратите внимание читателя, что “Арифметика” Магницкого стала действительно практическим пособием для всех путешественников и мореплавателей с 1703 г.» (Филимон А.Н. Яков Брюс. М., 2003).



БАРАШЕК В БУМАЖКЕ

© Г. В. БОРТНИК,
кандидат филологических наук

Чем более долгую историю имеет то или иное явление, тем большим количеством синонимов обрастает его первоначальное название. Так, в синонимическом ряду “**Взятка**; *подмазка* (прост.); *мзда*, *бакшиши* (уст. разг.); *хабар*, *хабара*, *хапанцы* (уст. прост.); *барашек в бумажке* (уст.)”, данном в популярном “Словаре синонимов русского языка” З.Е. Александровой (М., 1986), доминанта ряда – слово *взятка* – хронологически не первое обозначение “платы должностному лицу за совершение каких-либо незаконных действий в интересах дающего или принудительных поборов с зависимых и подчиненных лиц” (Словарь современного русского литературного языка. М., 1991. Т. 2).

Одним из первых лукавых обозначений того, что теперь чаще всего называется *взяткой*, был фразеологизм *барашек в бумажке*. Он приводится в “Словаре русского языка XVIII в.” с этимологической справкой – “первоначально в речи подьячих”. То, что эвфемизированное иносказание писцов и делопроизводителей приказных канцелярий обозначало не всякую, а лишь денежную взятку, уточняет иллюстративная цитата: “...Деньги, кои им дают, обертывают бумагою благопристойности ради... а чтоб не столь выговор тягостен показался ушам челобитчиковым, ежели подьячий потребует у него денег, так выдумали они сие слово: принеси мне барашка в бумажке, то есть деньги, обернутые бумагою” (Словарь русского языка XVIII в. Л., 1984. Вып. 1).

Рожденный в служебной практике канцеляристов допетровской Руси фразеологизм устарел сравнительно недавно. В ироническом употреблении парафраза *барашек в бумажке* естественна и в авторской речи писателей-классиков XIX – начала XX века, и в высказываниях персонажей их произведений.

Устареванию идиомы способствовало, должно быть, забвение ее “внутренней формы”, связанное с тем, что с появлением конвертов (они вошли в употребление в эпоху Петра I. См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. II) деньги уже не заворачивали в бумагу, а “благопристойности ради” передавали в конвер-

тах. И хотя ни в одном из толковых словарей у слова *конверт* не зафиксировано метонимического значения “взятка”, оно встречается в разговорной речи. Впрочем, даже и при отсутствии словарной узаконности подобного образования значение “взятка” у слова *конверт* улавливается и в стыдливо-всеобъемлющем “и т.п.”, что включается в дефиниции, и в иллюстративных цитатах и речениях, например: “**Конверт** 1. Пакет из...бумаги, в который вкладывают письмо, документы и т.п. для отправки, передачи кому-либо... *Конверт с деньгами*” (Большой толковый словарь русского языка. СПб., 2000).

Наряду с аллегорией *барашек в бумажке* ранними обозначениями взятки были исконно русские *посул*, *принос*, *мзда* и заимствованные *акциденция*, *бакиши*, *хабар*. Судьба этих синонимов в русском языке сложилась по-разному.

Слово *посул*, имеющееся в еще не изданном томе “Словаря русского языка XVIII в.” (о чем свидетельствует отсылочное указание в статье “взятка”), и в XIX веке не вышло из активного употребления. О том, в частности, можно судить по отсутствию у него маркировки *устарелое* в словаре, опосредованно отражающем живую речь XIX века: “**Посул** 2. Взятка. *К поборам да к посулам не привыкли*” (Ашукин Н.С., Ожегов С.И., Филиппов В.А. Словарь к пьесам А.Н. Островского. М., 1993). Однако уже в Толковом словаре Ушакова (М., 1939. Т. III), представляющем лексику первой трети XX века, значение “взятка, незаконный подарок” у слова *посул* определяется как устарелое. Такая же характеристика сохраняется и в словарях последующих десятилетий. А о забытости в наши дни этого названия взятки свидетельствует упрощенная семантическая структура существительного *посул* в “Большом толковом словаре русского языка”, где у слова отмечено лишь значение “обещание”.

Слово *принос*, соседствующее в Словаре Даля со словами *срыв*, *взятка*, включено и в Словарь М.И. Михельсона (Русская мысль и речь: Свое и чужое. СПб., 1903–1904. Т. 2). Косвенным доказательством того, что, возможно, именно *принос* – одно из исходных обозначений платы должностному лицу с целью его подкупа, является пословица *Земля любит навоз, лошадь овес, а воевода (судья) принос*, выбранная Михельсоном в качестве примера употребления слова *принос* в значении “взятка”. Вряд ли бы сложилась эта пословица после того как отменили воеводский чин, и его название стало историзмом. Должность же воеводская существовала еще в Московской Руси, да и в былинах, отражающих домосковский период, встречается подобная номинация: “Выходили мужики да тут черниговски/ И отворяли-то ворота во Чернигов-град/ А и зовут его в Чернигов воеводю” (Илья Муромец и Соловей Разбойник).

Среди трех синонимов *посул*, *принос*, *мзда* последний оказался наиболее жизнеспособным. Со значением “взятка” он использовался еще

в древнерусских сатирических повестях. Так, в “Повести о Ерше Ершовиче сыне Щетинникове” (конец XVI или 20–40-е годы XVII в.) герой укоряет судей: “Судили вы не по правде, судили по мзде”. Объективированное в этом высказывании специализированное “ухудшенное” значение (не всякая плата, а лишь плата-подкуп) как один из лексико-семантических вариантов устоялось у слова *мзда*. Оно стало базой для таких клеймящих производных, как *мздоимец*, *мздоимщик*, *мздолюбец*, *мздолюбие*. Чаше других в современных публицистических текстах встречается слово *мзда*, которое во времена нормативности Словаря Ушакова в интересующем нас значении не находилось среди устаревших, но уже “Словарь русского языка” (В 4 т. М., 1981–1984) перевел его в разряд таких. Экспрессивно-оценочная помета, *ироническое*, сопровождающая слово *мзда* в указанных словарях, свидетельствует о возможности выражать с помощью этой язвительной номинации скрытую насмешку, что немаловажно для публицистических жанров. По-видимому, отмеченное качество сделало слово *мзда* востребованным в последнее десятилетие, и недавний архаизм пережил обновление. Это дало основание авторам “Большого толкового словаря” освободить актуальное слово от маркировки *устарелое*, сохранив ее у однокоренных *мздоимец*, *мздоимство*, *мздоимствовать*.

Синонимическая подгруппа *посул*, *принос*, *мзда*, объединившая первые исконно русские обозначения всевозможных поборов, постоянно пополнялась за счет иноязычной лексики. Согласно данным “Словаря русского языка XVIII в.”, тогда входили в активное употребление заимствованные *акциденция*, *бакшиши*, *коррупция*. Первые источники, где выявлены эти “пришельцы”, датируются соответственно 1718, 1722, 1768 годами.

Перенятое из немецкого со значением “случайные, посторонние доходы” латинское по происхождению слово *акциденция* в русском языке обогатилось специфическими содержательными “добавками” и приобрело новые значения, в том числе и “ухудшенное” – “взятка”. Введенный эвфемизм сразу же стал объектом просветительской сатиры. Об этом красноречиво свидетельствует словарное извлечение из Сумарокова: “У дедов наших было имя сей болезни взятки, а мы, просветившиеся учением, даем ей имя латинское *акциденция*” (Словарь русского языка XVIII в. Л., 1984. Вып. 1).

Модный в начале XVIII века “чужак” довольно быстро устарел. Хотя слово *акциденция* и включено в Словари Даля и Михельсона, показательное его отсутствие в Толковом словаре Ушакова. Выходу из употребления латинизма, получившего в русском языке новые смысловые оттенки и потеснившего в свое время исконные обозначения взятки, по всей видимости, способствовало то, что в прямом значении (“случайное, преходящее, несущественное”) слово *акциденция* выражало философское понятие. Функционирование многозначной едини-

цы и в ранге термина (и что немаловажно для русской книжно-письменной традиции – философского), и в ранге названия “низкой” материи (общественно порицаемого явления) способствовало затуханию вторичного, “ухудшенного” значения. Думается, что сохранение “Словарем современного русского литературного языка” этого устарелого лексико-семантического варианта в структуре слова *акцидентия* – всего лишь констатация употребления существительного *акцидентия* в значении “взятка” классиками XIX века.

Что же касается тюркизма *бакшиши*, то в XVIII веке он воспринимался как экзотизм. Замечание “в Турции”, идущее в “Словаре русского языка XVIII в.” после толкующих синонимов “вознаграждение, подарок”, подтверждает это. Понятно, что в момент заимствования слово *бакшиши* не обозначало русскую взятку, так сказать, в ее классическом варианте. Скорее, нововведение соответствовало русским “подачка”, “чаевые”, что следует из иллюстративной цитаты, комментирующей значение тюркизма в языке-источнике: “Слово сие значит: на питье, и употребляется столь же часто, как у нас простолюдными: на водку, на калачи” (Словарь русского языка XVIII в. Л., 1984. Вып. 1).

В силу того особого места, что занимают тюркизмы в парадигме оценочных номинаций, выработанных русским языком, *бакшиши* легко расширило область своих внеязыковых проекций и уже у Даля выглядит органичным в ряду: “бакшиш, гостинец, начай, наводку [орфография Словаря. – Г.Б.], могарычи; принос, срыв, взятка”.

И *бакшиши*, и его семантический “родственник” *хабар*, попавший в русский язык через тюркоязычное посредство из арабского, оказались в стихии чужого языка единицами со сниженным стилистическим статусом и ограниченной сферой употребления. Нормативные словари, начиная со Словаря Ушакова, относят эти слова не только к разряду единиц *устарелых*, но и считают их *разговорными, просторечными, диалектными* и даже *жаргонными*.

Хабар, в отличие от “собрата” *бакшиши*, оброс русскими словообразовательными суффиксами и породил несколько производных, в том числе *хабарец, хабарышка, хабарничать, хабарщик, хабарник*, зафиксированных Далем.

Участь многих синонимических соседей, оказавшихся в составе пассивной лексики, повторило и выразительное русское слово *хапанцы*. Со временем оно было побеждено лукавыми эвфемизмами и теперь тоже значится в группе устарелых лексических единиц. Но все же сохранились, хоть и в ограниченном пространстве просторечия, клеймящие однокоренные *хануга, ханун, ханужничать*, в ироническом употреблении возможны и далевские *хаповщина, хаптура, хапайли, хануля*, рождаются и окказиональные вариации типа лесковского русско-немецкого гибрида *хаптусь гевезен*.

Образно-сатирические возможности собственно русских номинаций в семантическом поле “взятка” демонстрирует метафорическое образование в отглагольном существительном *подмазка*. Лексикографы несправедливо относят это обозначение, остроумно вскрывающее, если так можно выразиться, функциональную сторону “взятки”, к просторечным. Слово *подмазка* в значении “взятка”, скорее, разговорное. Грубости в нем нет, а вот грустноватая правда, еще откровеннее выраженная в пословицах *Не подмажешь – не поедешь* (*Не подмазано – не катится*), *Сухая ложка рот дерет*, как говорится, налицо.

Другие аспекты взяточничества вскрывают такие синонимы *взятки*, как *магарыч*, *поборы*, *благодарность*.

Арабское по происхождению *магарыч* в русском просторечии стало обозначать взятку в виде богатого угощения, что, разумеется, предполагает некое равенство взяткодателя с взяткополучателем. Исходя из этого нюанса, было бы правильным в справочниках, отражающих словоупотребление последнего десятилетия, обрусевшее *магарыч* сопровождать пометой фамильярное.

Существительное *поборы* один из последних толковых словарей поясняет сдержанно-академично: “2. Неодобр. Взимание определенной платы за что-л. в чью-л. пользу” (Большой толковый словарь), избегая слова *вымогательство*, которое встречается в дефинициях более ранних словарей. Суть той разновидности взяток, что названа *поборами*, вскрывает и форма множественного числа. Она у отглагольного существительного *поборы* указывает на многократность, повторяемость соответствующего действия.

Значение “взятка” у слова *благодарность* в “Словаре современного русского литературного языка” подается как *устарелое*. Но с этим трудно согласиться, ибо в силу своей эвфемистической “безобидности” лукавая семантическая придумка ныне весьма востребована.

Функционирование слова, развитие его значений предопределяются многими и языковыми, и внеязыковыми факторами. Почему, например, слово *мзда* на какое-то время оказалось среди архаизмов? Ведь исходное значение слова “плата, вознаграждение” достаточно конкретно и определено. Это делает прозрачным и вторичное “ухудшенное” значение – “плата за незаконные услуги”. В результате и производное *мздоимство* (по лексико-грамматическому разряду существительное, хоть и абстрактное) недвусмысленно квалифицирует явление. И, может быть, именно потому у этого исконно русского слова постоянно появлялись конкуренты, в том числе и довольно частотное сегодня *коррупция*. Обозначая “прямое использование должностным лицом прав, связанных с его должностью, в целях личного обогащения; продажность, подкупность должностных лиц, политических деятелей” (Современный словарь иностранных слов. М., 1992), слова *коррупция*,

коррупционность несколько расширяют понятийное содержание синонимов *взятничество*, *мздоимство*, *лихоимство*.

Конкурентоспособность заимствований, переигравших исконные русские слова, объясняется тем, что уже с Петровских времен слова западноевропейских языков призваны были облагораживать то, что прежде либо незатейливо, либо, напротив, остроумно и забористо было поименовано и оценено русским словом. Правда, случалось, что вследствие желания “верхов” общества “облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку, зато уж там, по-французски, другое дело: там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче...” (Гоголь Н.В. Мертвые души). Так вышло и со словом *коррупция*.

Но все же пришлое, не понятное широким слоям слово чужого языка было изначально эвфемистично. Это его свойство усиливалось внедренным в русское сознание представлением о том, что все заграничное лучше своего. Вот и появлялись у русских слов двойники. Сравним, например: *своекорыстный* – *меркантильный*, *себялюбец* – *эгоист*, *живодер* – *живоглот*, *кровосос* – *эксплуататор*, *головорез*, *налетчик* – *бандит*, *гангстер*.

Однако в индивидуальном восприятии чужого слова может проявляться и иное. Скажем, шолоховские казачки новые для них слова *амнистия*, *астролябия* восприняли как оскорбительные.

Впрочем, было бы несправедливым весь грех номинативного лукавства приписывать иноязычной лексике. Не менее изворотливой выглядит и родная *благодарность*. Так что лукавые двойники не только “импортируются”, но и создаются изобретательной мыслью из собственного языкового материала.

Брянск

Улицы Москвы. Старые и новые названия

Вышел в свет новый топонимический словарь-справочник, рассказывающий о происхождении названий улиц, площадей, вокзалов, станций метрополитена и железнодорожных станций, административных единиц, холмов, рек, прудов и озер, входящих в состав Москвы.

Ценность данной книги состоит в том, что такой словарь-справочник создан впервые. До этого момента, конечно, существовали исследования по данной проблематике. Так, с середины XIX века появлялись издания, раскрывающие формирование названий московских улиц: историко-археологические разыскания профессора И.М. Снегирева (публикации 1842–1873 гг.); труд историка А.А. Мартынова “Названия московских улиц и переулков с историческими объяснениями” (1878; 2-е изд. 1881); книга межевого инженера А.Н. Петунникова “Пути сообщения в Москве по высочайше утвержденному плану регулирования” (1915) и др. В XX веке изучение данной темы было продолжено. Массовые переименования улиц, произошедшие после смены власти, нашли отражение в работе П.Н. Миллера и П.В. Сыгина “Происхождение названий улиц, переулков и площадей Москвы” (1938). В 1946–1959 годах был опубликован ряд трудов П.В. Сыгина, где освещалась эта же тема. А в 1972 году публикуется справочник “Имена московских улиц” под редакцией А.М. Пегова, а затем – Ю.К. Ефремова, выдерживавший пять изданий (1972–1988).

Однако во всех этих исследованиях предметом описания являлись, в основном, названия улиц, переулков, площадей, и без внимания оставались другие географические объекты: реки; озера, парки и др. Эти работы дали возможность понять проблему изучения топонимии Москвы в целом, а также способствовали созданию полного топонимического словаря-справочника современного города.

В словаре широко применяется система отсылок от одних словарных статей к другим, дающим дополнительную информацию для наиболее полного раскрытия содержания названия. С учетом высокой в прошлом динамичности московской внутригородской топонимии авторами в корпус словаря были включены старые названия с отсылкой к современным: *Лопухинский переулок* – см. *Языковский переулок*, *Лефортовский проезд* – см. *Окружной проезд*.

Словарь-справочник не перегружен излишней терминологией, что делает его доступным широкому кругу читателей. Объяснение основных терминов приведено в начале словаря: *антропоним* – собственное имя человека – личное имя, отчество, фамилия, прозвище, псевдо-

ним; *гидроним* – собственное имя водного объекта, природного или созданного человеком – реки, ручья, озера, канала, пруда; *ойконим* – собственное имя любого селения: города, поселка, села, деревни; *топоним* (географическое название) – название любого географического объекта: страны, города, реки, оврага, поляны, улицы.

Словарь составлен на основе обширного топонимического материала, который обладает значительной лингвистической и культурной ценностью. Авторами был использован максимум доступных литературных, исторических и картографических источников. В словарных статьях затрагиваются вопросы истории, этнографии, археологии, географии.

Словарная статья организована так, что информация о городском объекте расположена в строгой логической последовательности, это позволяет читателю легко ориентироваться в приведенном материале: 1) заголовок (название внутригородского объекта); 2) координаты внутригородского объекта (указываются административный округ, район, близлежащие улицы; называется линия метрополитена или направление Московской железной дороги, если это название станции); 3) приводится год, когда дано было современное название и в связи с чем, т.е. мотивация наименования; 4) краткая (или подробная в случае наиболее известных названий) историческая справка; 5) ранее существовавшие названия и их толкование.

В книге отражен процесс переименования улиц, проспектов, площадей, переулков, станций метро, что было наиболее характерно для XX века, в период смены идеологий в нашей стране. Так, в 1990-х годах восстанавливаются многие исконные исторические названия улиц, однако на современной карте Москвы еще остаются рудименты социалистического прошлого. Например, *улица Клары Цеткин*, переименованная в 1930-х годах в память о германской коммунистке, до этого называлась *Вокзальная*, по “дачному вокзалу” бывшей станции *Подмосковная* (ныне ст. *Красный Балтиец* Рижского направления). *Большая и Малая Алексеевские улицы*, получившие имя по церкви Алексия-митрополита (известной с 1625 г.), в 1919 году по идеологическим соображениям были переименованы в *Большую* и *Малую Коммунистические улицы*, сохранившие эти названия до сих пор.

С другой стороны, многие названия настолько стали привычными, оказались устойчивы в сознании людей, что зачастую уже не связываются с революцией и коммунистической идеологией (см. метро *Октябрьская*, *Ленинский проспект*).

Среди московских названий есть такие, в которых нашли отражение важнейшие этапы и события истории нашей страны. Например, ряд названий, связанных с Отечественной войной 1812 года (*улица 1812 года*, *Кутузовский пр.*), Великой Отечественной войной 1941–1945 годов (*ул. Героев-Панфиловцев*, *Партизанская ул.*, *ул. Народного Ополчения*).

Названия улиц доносят до нас также и славные имена тех людей, кто защищал Родину и отдал свою жизнь на полях сражений: *Ослябинский пер.* увековечил имя легендарного героя Куликовской битвы (1380 г.), монаха Троице-Сергиева монастыря Родиона Осляби; *Багратионовский проезд* назван в честь героя Отечественной войны 1812 года полководца Петра Ивановича Багратиона (1765–1812); *ул. Зои и Александра Космодемьянских* – в память героически погибших в годы Великой Отечественной войны (на улице находится школа, в которой они учились). Все эти сведения можно найти на страницах словаря. Таким образом, помимо объяснения топонима, почему данный объект назван именно так, в словаре можно найти историческую справку о том или ином событии, а также биографические сведения о людях, имена которых запечатлены в названиях улиц.

Среди московских топонимов много наименований, образованных от названий монастырей и церквей, которых до революции в столице было великое множество, недаром появилось выражение *сорок сороков*. После революции большая часть храмов была разрушена, улицы, получившие названия по той или иной церкви, были переименованы. В настоящее время о том, какая церковь находилась когда-то в данном месте, напоминает только название: *Всехсвятский пер.* – название дано по церкви *Похвала Богородицы и Всех Святых в Башмакове*, построенной в 1694 году, снесенной в 1932; *ул. Знаменка* – по стоявшей здесь церкви *Знамения Богородицы*, разрушенной в 1931 году; *ул. Иерусалимская* – названа по стоявшей здесь церкви *Входа Господня в Иерусалим*; *ул. Ильинка* – по стоявшему здесь *Ильинскому монастырю*, сейчас на этой улице восстанавливается церковь в честь *Ильи Пророка*, долгое время занимаемая музеем.

Интересны словарные статьи, рассказывающие о происхождении гидронимов. Названия многих рек, протекающих по территории Москвы и Московской области, имеют нерусские имена, возникшие из языков финских и балтийских племен, живших на берегах Москвы-реки до прихода сюда славян: *Яуза, Химка, Жужа, Москва* (существует множество версий происхождения данного гидронима, в том числе и балтийская), *Сетунь, Пресня*. Названия таких рек, как *Сходня, Горячка, Кипятка, Серебрянка, Синичка*, даны были нашими предками, славянами. Эти гидронимы соотносятся с нарицательными существительными, однако четкой мотивировки наименования не имеют, поэтому в словаре-справочнике приводится несколько гипотез происхождения названия.

Среди названий улиц Москвы можно выделить класс топонимов, образованных от нарицательных слов, значение которых без словаря трудно понять в настоящее время, так как предметы, явления, обозначаемые этими словами, ушли из нашей действительности, или эти слова в современном русском языке были вытеснены из активного упо-

требления другими, поэтому для их толкования необходимо обращаться к древнерусскому языку и русским диалектам, а также к другим языкам (тюркским, финно-угорским, славянским, балтийским).

Благодаря словарю-справочнику читатель узнает, почему, например, *Арбат* назван так. Авторы приводят несколько версий этимологии названия: *арба* – “повозка”, указание на располагавшийся неподалеку царский колымажный двор; *рабад* (арабск.) – “предместье, пригород”, возможно, что здесь останавливались восточные купцы; *рабат* (арабск.) – “караван-сарай; странноприимный дом”, *Арбат* был приютом для приезжих тюркоязычных мусульман. Последнюю версию можно считать наиболее достоверной.

Многие московские улицы получили свои имена от названий географических объектов, находящихся либо в ближайших окрестностях Москвы, либо далеко за пределами столицы: ул. *Сходненская* – р. Сходня, *Дмитровское шоссе* – г. Дмитров, ул. *Минская* – г. Минск и т.д.

Читатель найдет в словаре анализ названий бывших подмосковных городов, сел, деревень, давших свои имена не только улицам, переулкам, но и целым микрорайонам, вошедшим в состав Москвы в последние десятилетия XX века: *Алтуфьево, Медведково, Марьино, Тушино, Ясенево* и др.

Интересно отметить, что вследствие включения в черту столицы нескольких подмосковных городов, например, *Тушино, Бабушкин, Солнцево* в Москве оказалось много одноименных улиц: двадцать *Советских*, девятнадцать – *Московских*, восемнадцать – *Центральных*, одиннадцать – *Пушкинских* (Имена-московских улиц. М., 1979). Одноименность была ликвидирована. В словаре можно обнаружить, какие улицы являлись “тезками” и какое название носят они теперь.

В топонимии Москвы постоянно происходил и происходит живой процесс: возникают новые названия, некоторые улицы переименовываются, а другим возвращаются старые имена. В связи с ростом города появляются новые внутригородские объекты (улицы, переулки, микрорайоны и т.д.), получающие названия. Таким образом, актуальность составления топонимического словаря-справочника очевидна, так как изучение топонимической системы Москвы помогает ориентироваться во всем многообразии названий внутри города.

Е. Н. ПОЛЯКОВА. Лексика и ономастика в памятниках письменности и живой речи Прикамья

В наши дни нередко ощущается не только смена ориентиров, методов и приемов исследования, но и самой стратегии в филологической области: что-то становится более модным и перспективным, а что-то уходит в тень.

Особый интерес в этой связи заслуживают труды региональных исследователей (оговоримся сразу же: “региональных” не по уровню, а только по географическому положению), ибо всегда испытываешь неподдельную радость от общения с такими людьми, сохранившими живые традиции русской науки. К их числу относится Елена Николаевна Полякова, доктор филологических наук, профессор кафедры общего и славянского языкознания Пермского государственного университета. Она сплотила вокруг себя целую школу историков-краеведов и лингвистов, а ее имя и труды уже более сорока лет известны научной аудитории. К недавнему юбилею ученого на ее “лингвистической” родине была выпущена примечательная книга “Лексика и ономастика в памятниках письменности и живой речи Прикамья. Избранные труды” (Пермь, 2002), составленная из работ разных лет по широкому спектру актуальных историко-филологических проблем: источниковедение, статус делового языка XVII века, лексикология, лексикография, ономастика. Стоит заметить, что представленные труды имеют не только практическое значение, но и весьма существенное теоретическое. Главная ценность книги состоит в том, что все материалы без исключения основаны на сведениях из памятников письменности XVI–XVIII веков, а также живых говоров XIX–XX веков, которые автор изучает более сорока лет.

Эта работа Е.Н. Поляковой соединяет в себе важное свойство филологического труда: научность и популярность, т.е. как мы это понимаем, соотношенность с “человеческим фактором”. Автор словно видит лица и события, о которых пишет, находясь в гармонии с изучаемым предметом не с величины достижений XXI века, а как бы изнутри, являясь незаметным наблюдателем-историком, открывающим все непонятное и “темное”, вызывая у читателя (может быть, даже и неспециалиста) более чуткое и внимательное отношение к русскому языку. Именно он хранит такие крупные открытия и тайны, которые под пером

Е.Н. Поляковой приобретают рельефное, грамотное и увлекательное лингвистическое очертание.

Для непосвященного читателя, казалось бы, что может быть интересного в приказных делах и свитках? А из них мы узнаем, что представлял собой дом воеводы в Соликамске XVII века, какое назначение имел *межевой камень* и многое другое. Подобные документы сохранили для потомков подлинный живой язык местного населения, его бытовой обиход. Приведем лишь некоторые примеры словотворчества жителей Прикамья: *желильница* – палочка, колышек, лучинка; *вежливец* – колдун на свадьбе; *котовый след* – след, оставленный человеком, обутым в коты (старинную кожаную обувь). Любопытно, что на территории Прикамья проходила, и, наверное, в отдаленных местах продолжает теплиться до сих пор своя языковая жизнь, со своими обычаями и законами. “На протяжении столетий, – пишет Е.Н. Полякова, – жизнь сел и деревень Прикамья шла таким образом, что в них складывались и существовали, развивались свои говоры. Каждый из них отличался от литературного языка и в меньшей степени, но все же отличался от других пермских говоров. Например, в одних болото называли преимущественно *зыбуном*, в других – *трундой*, *трясуном*, *бузуном*, *шолонью*, *утопелью*, *топостью*, *ржавцем*, *заболотью*. В одних местах густой непроходимый лес – *тайга*, в других – *шолок*, *суземье*, *стеня*, *цело*. Еловый лес называют в Пермской области *ельником*, *раменьем*, *чапуригой*, *темным лесом*”.

Колоритно, с привлечением новых архивных материалов книга рассказывает о бытовых и духовных реалиях местного населения. Вот лишь некоторые заголовки глав: “Жил ли человек по прозвищу Чашка на берегу Чашкина озера?”, “Что носили модницы в XVII веке?”, “Присушные слова и приворотное зелье”, “Что такое непроливашка?”, “Привидение или невесомость?”.

Богатство словесных красок позволяло создавать нашим предкам такие причудливые, на первый взгляд, обороты, как *молить быка*. В нем, по мнению Е.Н. Поляковой, “чувствуются... пережитки язычества”. Она полагает, что люди в древние времена, совершая моление, освящая животное, приносили его в жертву. Автор показывает и редкие примеры отношения жителей Прикамья к отдельным словам, отмечая простую судьбу духовных (церковных) обрядов и местных традиций. Так, «изучение слов, называющих нечистую силу, показало, что жители Прикамья XVII–XVIII вв. считали совершенно недопустимым поминать черта, а уж если кого-нибудь обвиняли в “службе черту”, то это почиталось за страшный грех. Однако в одном из документов 1707 г., – пишет далее ученый, – есть запись, помогающая лексикографам установить, что слово *черт*, хоть изредка, но использовалось в живой речи: “Говорил де он, Елфима, дети служат великому государю. А Осип де Нестеров его де, Елфима, взяв за бороду, драл и

говорил: Ваши де дети черту служат, а не государю, потому что де сын его, Елфимов, солдат Антипа со службы великого государя бежал и в бегах де живет в Устюжском уезде у дяди своего". Таким образом, иногда юридические акты позволяют выявить такую редкую лексику и увидеть, как и в каких случаях она употребляется в живой речи».

Большую часть сборника избранных трудов Е.Н. Поляковой составили научные статьи, объединенные в пять разделов по тематическому принципу: "Источники лингвистических исследований", "Языковая ситуация в Прикамье", "Лексикология", "Лексикография", "Ономастика". Опубликованные в разное время (самые ранние относятся к 1960-м гг.), они до сих пор не потеряли актуальности. И прежде всего это связано снова с тем, что в основе исследовательского метода ученого лежит принцип историзма: от документа, т.е. факта, к реальному лингвистическому "событию". Так, представляют определенный интерес сделанный Е.Н. Поляковой обзор коллекции свитков Пермского краеведческого музея и статьи "Источники изучения пермской топонимии XVI–XVII вв.", "Источники изучения русских неполных и оценочных имен прошлого". Автор использует для анализа переписные и писцовые книги, разного рода судебные документы, фиксирующие в точности местные ойконимы и гидронимы. Любопытно, что и ранее в силу разных причин могли меняться названия населенных пунктов, и это находило отражение в деловых актах, а для историков языка составляет предмет особого интереса. "В таких записях, – пишет Е.Н. Полякова, – соотносятся русские и нерусские ойконимы ("Деревня Пятигорская, что была Очга", "Деревня Айгорт, Шипицына тож"), официальные и просторечные именованья ("Деревня Павлика Черного, что был починок Пашков", "Деревня Кривец, бывшая деревня Кривая"), отгидронимические названия и иные ("Деревня над Яйвою-рекою, что была деревня Подкаменная")".

Весьма познавателен и с научной точки зрения концептуален раздел "Языковая ситуация в Прикамье". Е.Н. Полякова обсуждает здесь такие проблемы, как вопрос о единстве норм языка деловой письменности, влияние литературного языка на местные говоры, взаимодействие культового и приказного текстов и многое другое. Ученый поддерживает, в частности, точку зрения Б.А. Ларина о степени литературности делового языка и рассматривает его как особую функциональную разновидность народно-литературного типа.

Самый обширный раздел посвящен проблемам лексикологии. Е.Н. Полякова изучила многочисленные деловые документы с целью выявить так называемые регионализмы (почти все они вошли в ее "Словарь"). Такая работа исключительно важна для воссоздания более полной и точной картины бытования русского языка в разных областях, для пополнения запаса слов, не вошедших в академические словари. Здесь, кроме общих вопросов (синонимия, словообразовательная сис-

тема и др.), представлены и некоторые частные разработки, например, обсуждается проблема лексики коми в памятниках пермской письменности или лексики, связанной с суеверными представлениями, и т.д. В целом, надо отметить, что регионализмы дают ценный материал для реконструкции диалектной системы и позволяют вновь говорить о том, что “норма деловой речи была ориентирована на специальную деловую и общерусскую нейтральную лексику”.

Два заключительных раздела – “Лексикография” и “Ономастика” – продолжают историко-лингвистическое изучение пермского региона, его памятников. Историческая региональная лексикография как наука в последние десятилетия (и сейчас особенно) переживает большой подъем. Автор говорит о проблеме семантики текста, о том, что необходимо “максимально полно отразить сведения о каждом слове”. Однако как ответственный исследователь, не привыкший работать “на скорую руку”, Е.Н. Полякова считает, что исторический словарь лексики пермских говоров – дело будущего, но работа над ним ведется уже сейчас. Причем источниками такого словаря станут не только приказные документы, но и материалы диалектологических и фольклорных экспедиций, научная литература, хозяйственное описание Пермской губернии (области), материалы газет, художественные произведения и др. Таким образом, ставится задача всеобъемлющего описания ценнейшего словарного фонда пермского региона. Хочется надеяться, что многое из того, что было сделано проф. Е.Н. Поляковой, войдет в этот лексикон.

В послесловии к книге автор обращается к читателям с призывом, который целиком поддерживаем и мы: “Разгадка истории слова – результат обобщения материалов, собранных, полученных людьми в разные времена. Каждый человек может внести свой вклад в историческую лексикологию русского языка. Собирайте названия! Записывайте их! Пусть ничто из ценностей уходящих говоров не пропадет для науки...”

© О.В. Никитин



Ма́ма, па́па – мамá, папа́

О знаке ударения

© Н. А. ЕСТЬКОВА,
кандидат филологических наук

В XIX веке в дворянской среде были в ходу – как обращения, а также при упоминании в разговоре – слова *мамá, папа́*, отличающиеся от привычных нам слов местом ударения и несклоняемостью. Мы постоянно встречаемся с ними, читая русских классиков. Как мы отличаем их от *ма́ма, па́па*? Отличаем легко, если из строения фразы ясна их неизменяемость: “Спроси у *мамá*”, “Поговори с *папа́*”. А когда синтаксис не помогает, должен прийти на помощь знак ударения.

Поэтому при издании классиков необходимо последовательно печатать *мамá, папа́*. Между тем делается это, к сожалению, непоследовательно, и можно привести случаи, когда знак ударения отсутствует как раз там, где он особенно необходим.

Вот несколько примеров из “Записок сумасшедшего” в томе третьем академического полного собрания сочинений Гоголя (М., 1938):

«Она поклонилась и сказала: “*Папа́* здесь не было?”» (С. 196); “...целою головою выше *папа́* моей Софи...” (С. 203); “... у *папа́* в кабинете...” (С. 204).

Ср. случаи, где ударение не поставлено: “... которую *папа* называет Софи...” (С. 202); “... которого Софи называет *папа*...” (Там же); “Посмотрим, что *папа*...” (Там же) и др.

Как видим, ударение поставлено лишь в тех случаях, когда очевидно неизменяемость слова, т.е. там, где читатель и без знака ударения способен сообразить, что это *папа́*, а не *па́па*. В тех же случаях, где синтаксически возможно и то, и другое слово, знак ударения не стоит! Неужели редакторы тома считали, что в тексте Гоголя слово *папа́* фигурирует наряду со словом *па́па*?

Вот еще пример такой же непоследовательности:

“... Глупости какие выдумываешь, – неожиданно рассердилась тенька, – сейчас же брось! Чай будем пить, пойдн, *мамá* позовн <...> *Мама* лежала на кровати, уткнувшись в подушку, лицом к стене. <...> – *Мама*, что с тобой?!” (Александра Толстая. Дочь. М., 1992. С. 100).

В семье Толстого *мамá*, *панá* употреблялись постоянно, и в изданиях воспоминаний о великом писателе в этих словах довольно последовательно ставится знак ударения. См., например, вышедшие в последние десятилетия книги: Т.Л. Сухотина-Толстая. Воспоминания. М., 1980; Т.А. Кузминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986; В. Булгаков. Л.Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1989.

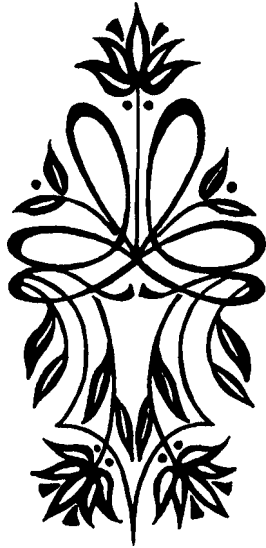
Эти слова фигурируют много раз в произведениях Толстого, но в изданиях его сочинений они почему-то почти никогда не снабжаются знаком ударения. Вот известное место из “Войны и мира”:

“– *Мама*, можно поговорить, да? – сказала Наташа” (Л.Н. Толстой. Собр. соч. в 20 т. Т. 5. М., 1962. С. 214).

Всякий ли современный читатель догадается, что это не *мама*, а *мамá*?

Много раз употребленное в автобиографической трилогии слово *пана* печатается в первом томе того же издания без знака ударения. Ни разу не напечатано *панá* и в первом томе нового полного собрания сочинений в ста томах (М., 2000).

Невозможно понять, почему редакторы сочинений Льва Толстого не используют знак ударения, необходимый для правильного прочтения этих слов.



Афанасий Матвеевич Селищев и современная филология

24–26 сентября 2003 года в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина состоялась первая Всероссийская научная конференция “Афанасий Матвеевич Селищев и современная филология”. Организаторами ее стали Министерство образования РФ, Департамент образования и науки администрации Липецкой области, ЕГУ им. И.А. Бунина, администрации Воловского района Липецкой области и Ливенского района Орловской области. Хочется особо подчеркнуть, что ельчане не случайно стали инициаторами этого мероприятия. Дело в том, что Липецкая область – родина знаменитого слависта, члена-корреспондента АН СССР А.М. Селищева (1886–1942). Его земляки, как показали прошедшие чтения, бережно изучают, пропагандируют и охраняют наследие ученого, внесшего большой вклад в развитие отечественной и мировой науки.

На конференцию съехались представители многих регионов России и ближнего зарубежья – Москвы, Архангельска, Орла, Воронежа, Ростова-на-Дону, Киева, Тарту, что придало конференции статус международной.

На открытии в адрес участников прозвучали приветствия администрации области, районов и ректора университета проф. В.П. Кузовлева. На первом пленарном заседании были прочитаны доклады

“Жизненный и творческий путь А.М. Селищева: новые разыскания” (О.В. Никитин, Москва), “Вопросы македонской диалектологии в трудах А.М. Селищева” (А.Д. Дуличенко, Тарту, Эстония), “Проблемы тюркологии в творчестве А.М. Селищева” (И.Г. Добродомов, Москва), “Исследования А.М. Селищева в области русской диалектологии” (В.И. Макаров, Елец), «История отечественного языкознания на страницах “Русской речи”» (Т.С. Колмакова, Москва). Далее работа продолжилась на заседаниях секций “История языков”, “Диалектология. Лингвокраеведение”, “Славянские языки: системно-структурные и функциональные особенности; методика изучения и преподавания”.

К началу конференции гостям и участникам были представлены два сборника, выпущенные в Ельце: “Памяти Афанасия Матвеевича Селищева: Сборник статей и документов” (2003) и “Афанасий Матвеевич Селищев и современная филология: Материалы Всероссийской научной конференции 24–26 сентября 2003 г.”. В первой книге собраны статьи, обзоры, воспоминания и документальные материалы, раскрывающие этапы научной деятельности и биографии А.М. Селищева; здесь же осуществлена републикация докладов крупнейших советских ученых С.П. Обнорского, Р.И. Аванесова, С.Б. Бернштейна и др., сделанных в 1943 году в МГУ им. М.В. Ломоносова на заседании в память А.М. Селищева. Второй сборник включил в себя материалы выступлений участников конференции и статьи видных ученых – академика РАО Н.М. Шанского, профессоров В.М. Алпатова, Р.И. Хашимова, А.Г. Ломова, В.Д. Бондалетова, Т.В. Бахваловой, Г.Ф. Ковалева и др.

Были организованы выездные сессии в городах Волово и Ливны. В муниципальной гимназии города Ливны прошли заседания секций “История языка”, “Славянские языки: системно-структурные и функциональные особенности; методика изучения и преподавания”, «Образовательная область “Филология” в условиях современной гимназии». На них выступали участники конференции и учителя ливенской гимназии. Среди докладчиков были Г.С. Журавлева (Елец), А.М. Григораш (Киев), преподаватели гимназии Л.А. Селищева, О.А. Мещерякова, О.А. Головина, О.В. Грудева, Т.О. Бахтина, а также ученица 11-го класса М. Ведерина.

Конференция вызвала всплеск публикаций в городской и областной печати. Отдельные фрагменты ее освещались на местном телеканале. В рамках круглого стола кафедры истории и теории русского языка ЕГУ была организована “Встреча с интересным собеседником”, участниками которой стали профессора И.Г. Добродомов и А.Д. Дуличенко. Они рассказали студентам и преподавателям университета об актуальных проблемах современной науки, ответили на многочисленные вопросы заинтересованных слушателей. На заключительном пленарном заседании единогласно было принято решение

каждые два года проводить “Селищевские чтения” и сделать их традиционными.

Высокий уровень организации конференции – это заслуга прежде всего сотрудников ЕГУ им. И.А. Бунина – ректора университета проф. В.П. Кузовлева, проректора по научной работе проф. Е.Н. Герасимовой и заведующего кафедрой истории и теории русского языка проф. В.И. Макарова.

Участникам конференции была предложена большая экскурсионная программа: ознакомление с достопримечательностями старинного Ельца, посещения дома-музея И.А. Бунина и одного из красивейших и древнейших монастырей Центральной России – Задонского Рождество-Богородицкого мужского монастыря, в чем большую помощь оказала доцент кафедры историко-культурного наследия ЕГУ Н.А. Чистякова – знаток и энтузиаст культуры родного края, его исторических и фольклорных традиций.

Надеемся, что земляки А.М. Селищева останутся верными традициями великого русского просветителя и немало сделают для изучения и пропаганды его наследия, придадут живительную силу его идеям и гипотезам.